

**Захар Прилепин**  
**Обитель**



Текст предоставлен издательством <https://litres.ru/6687009>

«Обитель : роман / Захар Прилепин»: АСТ : Редакция Елены Шубиной; Москва; 2014

## Аннотация

*<p>Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, двукратный финалист премии «Большая книга». Известность ему принесли романы «Патологии» (о войне в Чечне) и «Санькя» (о молодых нацболах), «пацанские» рассказы – «Грех» и «Ботинки, полные горячей водкой». В новом романе «Обитель» писатель обращается к другому времени и другому опыту.</p><p>Соловки, конец двадцатых годов. Широкое полотно босховского размаха, с десятками персонажей, с отчетливыми следами прошлого и отблесками гроз будущего – и целая жизнь, уместившаяся в одну осень. Молодой человек двадцати семи лет от роду, оказавшийся в лагере. Величественная природа – и клубок человеческих судеб, где невозможно отличить палачей от жертв. Трагическая история одной любви – и история всей страны с ее болью, кровью, ненавистью, отраженная в Соловецком острове, как в зеркале.</p>*

## Захар Прилепин Обитель

© Захар Прилепин

© ООО «Издательство АСТ»

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

\* \* \*

## От автора

Говорили, что в молодости прадед был шумливый и злой. В наших краях есть хорошее слово, определяющее такой характер: взгальный.

До самой старости у него имелась странность: если мимо нашего дома шла отбившаяся от стада корова с колокольцем на шее, прадед иной раз мог забыть любое дело и резво отправиться на улицу, схватив второпях что попало – свой кривой посох из рябиновой палки, сапог, старый чугунок. С порога, ужасно ругаясь, бросал вослед корове вещь, оказавшуюся в его кривых пальцах. Мог и пробежаться за напуганной скотиной, обещая кары земные и ей, и её хозяевам.

“Бешеный чёрт!” – говорила про него бабушка. Она произносила это как “бешаный чорт!”. Непривычное для слуха “а” в первом слове и гулкое “о” во втором заворачивали.

“А” было похоже на бесноватый, почти треугольный, будто бы вздёнутый вверх прадедов глаз, которым он в раздражении таращился, – причём второй глаз был сощурен. Что до “чорта” – то когда прадед кашлял и чихал, он, казалось, произносил это слово: “Ааа... чорт! Ааа... чорт! Чорт! Чорт!” Можно было предположить, что прадед видит чёрта перед собой и кричит на него, прогоняя. Или, с кашлем, выплёвывает каждый раз по одному чёрту, забравшемуся внутрь.

По слогам, вослед за бабушкой, повторяя “бе-ша-ный чорт!” – я вслушивался в свой шёпот: в знакомых словах вдруг образовались сквозняки из прошлого, где прадед был совсем другой: юный, дурной и бешеный.

Бабушка вспоминала: когда она, выйдя замуж за деда, пришла в дом, прадед страшно

колотил “маманю” – её свекровь, мою прабабку. Причём свекровь была статна, сильна, сурова, выше прадеда на голову и шире в плечах – но боялась и слушалась его беспрекословно.

Чтоб ударить жену, прадеду приходилось вставать на лавку. Оттуда он требовал, чтоб она подошла, хватал её за волосы и бил с размаху маленьким жестоким кулаком в ухо.

Звали его Захар Петрович.

“Чей это парень?” – “А Захара Петрова”.

Прадед был бородат. Борода его была словно бы чеченская, чуть курчавая, не вся ещё седая – хотя редкие волосы на голове прадеда были белым-белы, невесомы, пушисты. Если из старой подушки к голове прадеда налипал птичий пух – его было сразу и не различить.

Пух снимал кто-нибудь из нас, безбоязненных детей – ни бабушка, ни дед, ни мой отец головы прадеда не касались никогда. И если даже по-доброму шутили о нём – то лишь в его отсутствие.

Ростом он был невысок, в четырнадцать я уже перерос его, хотя, конечно же, к тому времени Захар Петров ссутулился, сильно хромал и понемногу вращался в землю – ему было то ли восемьдесят восемь, то ли восемьдесят девять: в паспорте был записан один год, родился он в другом, то ли раньше даты в документе, то ли, напротив, позже – со временем и сам запомнил.

Бабушка рассказывала, что прадед стал добрее, когда ему перевалило за шестьдесят, – но только к детям. Души не чаял во внуках, кормил их, тешил, мыл – по деревенским меркам всё это было диковато. Спали они все по очереди с ним на печке, под его огромным кудрявым пахучим тулупом.

Мы наезжали в родовой дом погостить – и лет, кажется, в шесть мне тоже несколько раз выпадало это счастье: ядрёный, шерстяной, дремучий тулуп – я помню его дух и поныне.

Сам тулуп был как древнее предание – искренне верилось: его носили и не могли износить семь поколений – весь наш род грелся и согревался в этой шерсти; им же укрывали только что, в зиму, рождённых телят и поросят, переносимых в избу, чтоб не перемерзли в сарае; в огромных рукавах вполне могло годами жить тихое домашнее мышинное семейство, и, если долго копошиться в тулупных залежах и закоулках, можно было найти махорку, которую прадед прадеда не докуривал век назад, ленту из венчального наряда бабушки моей бабушки, сахаринный обкусок, потерянный моим отцом, который он в своё голодное послевоенное детство разыскивал три дня и не нашёл.

А я нашёл и съел вперемешку с махоркой.

Когда прадед умер, тулуп выбросили – чего бы я тут ни плёл, а был он старёй старёй и пах ужасно.

Девяностолетие Захара Петрова мы праздновали на всякий случай три года подряд.

Прадед сидел, на первый неумный взгляд преисполненный значения, а на самом деле весёлый и чуть лукавый: как я вас обманул – дожил до девяноста и заставил всех собраться.

Выпивал он, как и все наши, наравне с молодыми до самой старости и, когда за полночь – а праздник начинался в полдень – чувствовал, что хватит, медленно поднимался из-за стола и, отмахнувшись от бросившейся помочь бабки, шёл к своей лежанке, ни на кого не глядя.

Пока прадед выходил, все оставшиеся за столом молчали и не шевелились.

“Как генералиссимус идёт...” – сказал, помню, мой крёстный отец и родной дядька, убитый на следующий год в дурацкой драке.

То, что прадед три года сидел в лагере на Соловках, я узнал ещё ребёнком. Для меня это было почти то же самое, как если бы он ходил за зипунами в Персию при Алексее Тишайшем или добирался с бритым Святославом до Тмутаракани.

Об этом особенно не распространялись, но, с другой стороны, прадед нет-нет да и вспоминал то про Эйхманиса, то про взводного Крапина, то про поэта Афанасьева.

Долгое время я думал, что Мстислав Бурцев и Кучерава – однополчане прадеда, и только потом догадался, что это всё лагерники.

Когда мне в руки попали соловецкие фотографии, удивительным образом я сразу узнал и Эйхманиса, и Бурцева, и Афанасьева.

Они воспринимались мной почти как близкая, хоть и нехорошая порой, родня.

Думая об этом сейчас, я понимаю, как короток путь до истории – она рядом. Я прикасался к прадеду, прадед воочию видел святых и бесов.

Эйхманиса он всегда называл “Фёдор Иванович”, было слышно, что к нему прадед относится с чувством трудного уважения. Я иногда пытаюсь представить, как убили этого красивого и неглупого человека – основателя концлагерей в Советской России.

Лично мне прадед ничего про соловецкую жизнь не рассказывал, хотя за общим столом иной раз, обращаясь исключительно ко взрослым мужчинам, преимущественно к моему отцу, прадед что-то такое вскользь говорил, каждый раз словно заканчивая какую-то историю, о которой шла речь чуть раньше – к примеру, год назад, или десять лет, или сорок.

Помню, мать, немного бахвалась перед стариками, проверяла, как там дела с французским у моей старшей сестры, а прадед вдруг напомнил отцу – который, похоже, слышал эту историю, – как случайно получил наряд по ягоды, а в лесу неожиданно встретил Фёдора Ивановича и тот заговорил по-французски с одним из заключённых.

Прадед быстро, в двух-трёх фразах, хриплым и обширным своим голосом набрасывал какую-то картинку из прошлого – и она получалась очень внятной и зримой. Причём вид прадеда, его морщины, его борода, пух на его голове, его смешок – напоминавший звук, когда железной ложкой шкрябают по сковороде, – всё это играло не меньшее, а большее значение, чем сама речь.

Ещё были истории про баланы в октябрьской ледяной воде, про огромные и смешные соловецкие веники, про перебитых чаек и собаку по кличке Блэк.

Своего чёрного беспородного щенка я тоже назвал Блэк.

Щенок, играясь, задушил одного летнего цыпленка, потом другого и перья раскидал на крыльце, следом третьего... в общем, однажды прадед схватил щенка, вприпрыжку гонявшего по двору последнего курёнка, за хвост и с размаху ударил об угол каменного нашего дома. В первый удар щенок ужасно взвизгнул, а после второго – смолк.

Руки прадеда до девяноста лет обладали если не силой, то цепкостью. Лубяная соловецкая закалка тащила его здоровье через весь век. Лица прадеда я не помню, только разве что бороду и в ней рот наискосок, жующий что-то, – зато руки, едва закрою глаза, сразу вижу: с кривыми иссиня-чёрными пальцами, в курчавом грязном волосе. Прадеда и посадили за то, что он зверски избил уполномоченного. Потом его ещё раз чудом не посадили, когда он собственноручно перебил домашнюю скотину, которую собирались обобществлять.

Когда я смотрю, особенно в нетрезвом виде, на свои руки, то с некоторым страхом обнаруживаю, как с каждым годом из них прорастают скрученные, с седыми латунными ногтями пальцы прадеда.

Штаны прадед называл шкерами, бритву – мойкой, карты – святцами, про меня, когда я ленился и полёживал с книжкой, сказал как-то: “...О, лежит ненаряженный...” – но без злобы, в шутку, даже как бы одобряя.

Так, как он, больше никто не разговаривал ни в семье, ни во всей деревне.

Какие-то истории прадеда дед передавал по-своему, отец мой – в новом пересказе, крёстный – на третий лад. Бабушка же всегда говорила про лагерную жизнь прадеда с жалостливой и бабьей точки зрения, иногда будто бы вступающей в противоречие с мужским взглядом.

Однако ж общая картина понемногу начала складываться.

Про Галю и Артёма рассказал отец, когда мне было лет пятнадцать, – тогда как раз наступила эпоха разоблачений и покаянного юродства. Отец к слову и вкратце набросал этот сюжет, необычайно меня поразивший уже тогда.

Бабушка тоже знала эту историю.

Я всё никак не могу представить, как и когда прадед поведал это всё отцу – он вообще

был немногословен; но вот рассказал всё-таки.

Позднее, сводя в одну картину все рассказы и сверяя это с тем, как было на самом деле, согласно обнаруженным в архивах отчётам, докладным запискам и рапортам, я заметил, что у прадеда ряд событий слился воедино и какие-то вещи случились подряд – в то время как они были растянуты на год, а то и на три.

С другой стороны, что есть истина, как не то, что помнится.

Истина – то, что помнится.

Прадед умер, когда я был на Кавказе – свободный, весёлый, камуфлированный.

Следом понемногу ушла в землю почти вся наша огромная семья, только внуки и правнуки остались – одни, без взрослых.

Приходится делать вид, что взрослые теперь мы, хотя я никаких разительных отличий между собой четырнадцатилетним и нынешним так и не обнаружил.

Разве что у меня вырос сын четырнадцати лет.

Так случилось, что, пока все мои старики умирали, я всё время находился где-то далеко – и ни разу не попадал на похороны.

Иногда я думаю, что мои родные живы – иначе куда они все подевались?

Несколько раз мне снилось, как я возвращаюсь в свою деревню и пытаюсь разыскать тулуп прадеда, лажу, сдирая руки, по каким-то кустам, тревожно и бессмысленно брожу вдоль берега реки, у холодной и грязной воды, потом оказываюсь в сарае: старые грабли, старые косы, ржавое железо – всё это случайно валится на меня, мне больно; дальше почему-то я забираюсь на сеновал, копаюсь там, задыхаясь от пыли, и кашляю: “Чорт! Чорт! Чорт!”

Ничего не нахожу.

## Книга первая

*Il fait froid aujourd'hui.*

– *Froid et humide.*

– *Quel sale temps, une véritable fièvre.*

– *Une véritable peste...*<sup>1</sup>

– Монахи тут, помните, как говорили: “В труде спасаемся!” – сказал Василий Петрович, на мгновение переведя довольные, часто мигающие глаза с Фёдора Ивановича Эйхманиса на Артёма. Артём зачем-то кивнул, хотя не понял, о чём шла речь.

– *C'est dans l'effort que se trouve notre salut?*<sup>2</sup> – переспросил Эйхманис.

– *C'est bien cela!*<sup>3</sup> – с удовольствием ответил Василий Петрович и так сильно тряхнул головой, что высыпал на землю несколько ягод из корзины, которую держал в руках.

– Ну, значит, и мы правы, – сказал Эйхманис, улыбаясь и поочерёдно глядя на Василия Петровича, на Артёма и на свою спутницу, не отвечавшую, впрочем, на его взгляд. – Не знаю, что там со спасением, а в труде монахи знали толк.

Артём и Василий Петрович в отсыревшей и грязной одежде, с чёрными коленями, стояли на мокрой траве, иногда перетаптываясь, размазывая по щекам лесную паутину и комаров пропахшими землёй руками. Эйхманис и его женщина были верхом: он – на гнедом

---

<sup>1</sup> – Сегодня холодно.

– Холодно и сыро.

– Это не погода, а лихорадка.

– Не погода, а чума (*фр.*).

<sup>2</sup> – В труде спасаемся? (*фр.*)

<sup>3</sup> – Именно так! (*фр.*)

норовистом жеребце, она – на пегом, немолодом, будто глуховатом.

Снова затеялся дождь, мутный и колкий для июля. Неожиданно холодный даже в этих местах, задул ветер.

Эйхманис кивнул Артёму и Василию Петровичу. Женщина молча потянула поводья влево, чем-то будто бы раздражённая.

– Посадка-то у неё не хуже, чем у Эйхманиса, – заметил Артём, глядя всадникам вслед.

– Да, да... – отвечал Василий Петрович так, что было понятным: слова собеседника не достигают его слуха. Он поставил корзину на землю и молча собирал высыпавшиеся ягоды.

– С голода вас шатает, – то ли в шутку, то ли всерьёз сказал Артём, глядя сверху на кепку Василия Петровича. – Шестичасовой отзвонил уже. Нас ждёт прекрасное хлебалово. Картошка сегодня или гречка, как думаете?

Из леса к дороге подтянулись ещё несколько человек бригады ягодников.

Не дожидаясь, пока сойдёт на нет настырная морось, Василий Петрович и Артём зашагали в сторону монастыря. Артём чуть прихрамывал – пока ходил за ягодами, подвернул ногу.

Он тоже, не меньше Василия Петровича, устал. К тому же Артём снова очевидно не выполнил нормы.

– Я на эту работу больше не пойду, – тяготясь молчанием, негромко сказал Артём Василию Петровичу. – К чёрту бы эти ягоды. Наелся за неделю – а радости никакой.

– Да, да... – ещё раз повторил Василий Петрович, но наконец справился с собою и неожиданно ответил: – Зато без конвоя! Весь день не видеть ни этих, с чёрными околышами, ни лягавой роты, ни “леопардов”, Артём.

– А пайка у меня будет уполовиненная и обед без второго, – парировал Артём. – Треска варёная, тоска зелёная.

– Ну давайте я вам отсыплю, – предложил Василий Петрович.

– Тогда у нас обоих будет недостача по норме, – мягко посмеялся Артём. – Едва ли это принесёт мне радость.

– Вы же знаете, каких трудов стоило мне получить сегодняшний наряд... И всё равно ведь не пни корчевать, Артём, – Василий Петрович понемногу оживился. – А вы, кстати, заметили, чего ещё в лесу нет?

Артём что-то такое точно заметил, но никак не мог понять, что именно.

– Там не орут эти треклятые чайки! – Василий Петрович даже остановился и, подумав, съел одну ягоду из своей корзины.

В монастыре и в порту от чаек не было проходу, к тому же за убийство чайки полагался карцер – начальник лагеря Эйхманис отчего-то ценил эту крикливую и наглую соловецкую породу; необъяснимо.

– В чернике есть соли железа, хром и медь, – поделился знанием, съев ещё одну ягоду, Василий Петрович.

– То-то я чувствую себя как медный всадник, – мрачно сказал Артём. – И всадник хром.

– Ещё черника улучшает зрение, – сказал Василий Петрович. – Вот, видите звезду на храме?

Артём всмотрелся.

– И?

– Сколькимконечная эта звезда? – спросил Василий Петрович крайне серьёзно.

Артём секунду всматривался, потом всё понял, и Василий Петрович понял, что тот догадался, – и оба тихо засмеялись.

– Хорошо, что вы только многозначительно кивали, а не разговаривали с Эйхманисом – у вас весь рот в чернике, – сквозь смех процедил Василий Петрович, и стало ещё смешней.

Пока рассматривали звезду и смеялись по этому поводу, бригада обошла их – и каждый посчитал необходимым заглянуть в корзины стоявших на дороге.

Василий Петрович и Артём остались в некотором отдалении одни. Смех быстро сошёл на нет, и Василий Петрович вдруг разом осуровел.

– Знаете, это постыдная, это отвратительная черта, – заговорил он трудно и с неприязнью. – Мало ведь того, что он просто решил побеседовать со мной, – он обратился ко мне по-французски! И я сразу готов всё простить ему. И даже полюбить его! Я сейчас приду и проглочу это вонючее варево, а потом полезу на нары кормить вшей. А он поест мяса, а потом ему принесут ягоды, которые мы вот здесь собрали. И он будет чернику запивать молоком! Я же должен, простите великодушно, наплевать ему в эти ягоды – а вместо этого несу их с благодарностью за то, что этот человек умеет по-французски и снисходит до меня! Но мой отец тоже умел по-французски! И по-немецки, и по-английски! А как я дерзил ему! Как унижал отца! Чего же здесь я не надерзил, старая я коряга? Как я себя ненавижу, Артём! Чёрт меня раздери!

– Всё-всё, Василий Петрович, хватит, – уже иначе засмеялся Артём; за последний месяц он успел полюбить эти монологи...

– Нет, не всё, Артём, – сказал Василий Петрович строго. – Я тут стал вот что понимать: аристократия – это никакая не голубая кровь, нет. Это просто люди хорошо ели из поколения в поколение, им собирали дворовые девки ягоды, им стелили постель и мыли их в бане, а потом расчёсывали волосы гребнем. И они отмылись и расчесались до такой степени, что стали аристократией. Теперь мы вывозились в грязи, зато эти – верхом, они откормлены, они умыты – и они... хорошо, пусть не они, но их дети – тоже станут аристократией.

– Нет, – ответил Артём и пошёл, с лёгким остервенением растирая дождевые капли по лицу.

– Думаете, нет? – спросил Василий Петрович, нагоняя его. В его голосе звучала явная надежда на правоту Артёма. – Я тогда, пожалуй, ещё ягодку съем... И вы тоже съешьте, Артём, я угощаю. Держите, вот даже две.

– Да ну её, – отмахнулся Артём. – Сала нет у вас?

\* \* \*

Чем ближе монастырь – тем громче чайки.

Обитель была угловата – непомерными углами, неопрятна – ужасным разором.

Тело её выгорело, остались сквозняки, мшистые валуны стен.

Она высилась так тяжело и огромно, будто была построена не слабыми людьми, а разом, всем своим каменным туловом упала с небес и уловила оказавшихся здесь в западню.

Артём не любил смотреть на монастырь: хотелось скорее пройти ворота – оказаться внутри.

– Второй год здесь бедую, а каждый раз рука тянется перекреститься, когда вхожу в кремль, – поделился Василий Петрович шёпотом.

– Так крестились бы, – в полный голос ответил Артём.

– На звезду? – спросил Василий Петрович.

– На храм, – отрезал Артём. – Что вам за разница – звезда, не звезда, храм-то стоит.

– Вдруг пальцы-то отломают, лучше не буду дураков сердить, – сказал Василий Петрович, подумав, и даже руки спрятал поглубже в рукава пиджака. Под пиджаком он носил поношенную фланелевую рубашку.

– ...А во храме орава без пяти минут святых на трёхъярусных нарах... – завершил свою мысль Артём. – Или чуть больше, если считать под нарами.

Двор Василий Петрович всегда пересекал быстро, опустив глаза, словно стараясь не привлечь понапрасну ничьего внимания.

Во дворе росли старые берёзы и старые липы, выше всех стоял тополь. Но Артёму особенно нравилась рябина – ягоды её нещадно обрывали или на заварку в кипяток, или просто чтоб сжевать кисленького – а она оказывалась несносно горькой; только на макушке ещё виднелось несколько гроздей, отчего-то всё это напоминало Артёму материнскую причёску.

Двенадцатая рабочая рота Соловецкого лагеря занимала трапезную единостолпную



палату бывшей соборной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Шагнули в деревянный тамбур, поприветствовав дневальных – чеченца, чью статью и фамилию Артём никак не мог запомнить, да и не очень хотел, и Афанасьева – антисоветская, как он сам похвастался, агитация – ленинградского поэта, который весело поинтересовался: “Как в лесу ягода, Тёма?” Ответ был: “Ягода в Москве, зам начальника ГэПэУ. А в лесу – мы”.

Афанасьев тихо хохотнул, чеченец же, как показалось Артёму, ничего не понял – хотя разве догадаешься по их виду. Афанасьев сидел, насколько возможно развалившись на табуретке, чеченец же то шагал туда-сюда, то присаживался на корточки.

Ходики на стене показывали без четверти семь.

Артём терпеливо дожидался Василия Петровича, который, набрав воды из бака при входе, цедил, отдуваясь, в то время как Артём опустошил бы кружку в два глотка... собственно, в итоге выхлебал целых три кружки, а четвёртую вылил себе на голову.

– Нам таскать эту воду! – сказал чеченец недовольно, извлекая изо рта каждое русское слово с некоторым трудом. Артём достал из кармана несколько смятых ягод и сказал: “На”; чеченец взял, не поняв, что дают, а догадавшись, брезгливо катнул их по столу; Афанасьев поочерёдно поймал все и покидал в рот.

При входе в трапезную сразу ударил запах, от которого за день в лесу отвыкли, – немытая человеческая мерзость, грязное, изношенное мясо; никакой скот так не пахнет, как человек и живущие на нём насекомые; но Артём точно знал, что уже через семь минут привыкнет, и забудется, и сольётся с этим запахом, с этим гамом и матом, с этой жизнью.

Нары были устроены из круглых, всегда сырых жердей и неструганых досок.

Артём спал на втором ярусе. Василий Петрович – ровно под ним: он уже успел обучить Артёма, что летом лучше спать внизу – там прохладней, а зимой – наверху, “...потому что тёплый воздух поднимается куда?..”. На третьем ярусе обитал Афанасьев. Мало того что ему было жарче всех, туда ещё и непрестанно подкапывало с потолка – гнилые осадки давали испарения от пота и дыхания.

– А вы будто и неверующий, Артём? – не унимался внизу Василий Петрович, пытаясь продолжить начатый на улице разговор и одновременно разбираясь со своей ветшающей обувкой. – Дитя века, да? Начитались всякой дряни в детстве, наверное? Дыр бул щыл в штанах, навьи чары на уме, Бог умер своей смертью, что-то такое, да?

Артём не отвечал, уже прислушиваясь, не тащат ли ужин – хотя раньше времени пожрать доставляли редко.

На сбор ягод он брал с собой хлеб – с хлебом черника шла лучше, но докучливый голод в конечном счёте не утоляла.

Василий Петрович поставил на пол ботинки с тем тихим бережением, что свойственно неизбалованным женщинам, убирающим на ночь свои украшения. Потом долго перетряхивал вещи и наконец горестно заключил:

– Артём, у меня опять украли ложку, вы только подумайте.

Артём тут же проверил свою – на месте ли: да, на месте, и миска тоже. Раздавил клопа, пока копошился в вещах. У него уже воровали миску. Он тогда взял у Василия Петровича 22 копейки местных соловецких денег взаймы и купил миску в лавке, после чего выцарапал “А” на дне, чтоб, если украдут, опознать свою вещь. При этом отлично понимая, что смысла в отметке почти нет: уйдёт миска в другую роту – разве ж дадут посмотреть, где она да кто её скоблит.

Ещё клопа раздавил.

– Только подумайте, Артём, – ещё раз повторил Василий Петрович, не дождавшись ответа и снова перерывая свою кровать.

Артём промычал что-то неопределённое.

– Что? – переспросил Василий Петрович.

– Подумал, – ответил Артём и добавил, дабы утешить товарища: – В ларьке купите. А сейчас моей поужинаем.

Вообще Артёму можно было и не приноживаться – ужин неизменно предварялся пением Моисея Соломоныча: тот обладал замечательным чутьём на пищу и всякий раз начинал подвывать за несколько минут до того, как дежурные вносили чан с кашей или супом.

Пел он одинаково воодушевлённо всё подряд – романсы, оперетки, еврейские и украинские песни, пытался даже на французском, которого не знал, – что можно было понять по отчаянным гримасам Василия Петровича.

– Да здравствует свобода, советская власть, рабоче-крестьянская воля! – негромко, но внятно исполнял Моисей Соломонович безо всякой, казалось, иронии. Череп он имел длинный, волос чёрный, густой, глаза навывкате, удивлённые, рот большой, с заметным языком. Распевая, он помогал себе руками, словно ловя проплывающие мимо в воздухе слова для песен и строя из них башенку.

Афанасьев с чеченцем, семена ногами, внесли на палках цинковый бак, затем ещё один.

На ужин строились повзводно, занимало это всегда не меньше часа. Взводом Артёма и Василия Петровича командовал такой же заключённый, как они, бывший милиционер Крапин – человек молчаливый, суровый, с приросшими мочками. Кожа лица у него всегда была покрасневшая, будто обваренная, а лоб выдающийся, крутой, какой-то особенно крепкий на вид, сразу напоминающий давно виданные страницы то ли из учебного пособия по зоологии, то ли из медицинского справочника.

В их взводе, помимо Моисея Соломоновича и Афанасьева, имелись разнообразные уголовники и рецидивисты, терский казак Лажечников, три чеченца, один престарелый поляк, один молодой китаец, детина с Малороссии, успевший в Гражданскую повоевать за десяток атаманов и в перерывах за красных, колчаковский офицер, генеральский денщик по прозвищу Самовар, дюжина черноземных мужиков и фельетонист из Ленинграда Граков, отчего-то избегавший общения со своим земляком Афанасьевым.

Ещё под нарами, в царящей там несусветной помойке – ворохах тряпья и мусора, два дня как завёлся беспризорник, сбежавший то ли из карцера, то ли из восьмой роты, где в основном и обитали такие, как он. Артём один раз прикормил его капустой, но больше не стал, однако беспризорник всё равно спал поближе к ним.

“Как он догадывается, Артём, что мы его не выдадим? – риторически, с легчайшей самоиронией поинтересовался Василий Петрович. – Неужели у нас такой никчёмный вид? Я как-то слышал, что взрослый мужчина, не способный на подлость или, в крайнем случае, убийство, выглядит скучно. А?”

Артём смолчал, чтоб не отвечать и не сбивать свою мужскую цену.

Он прибыл в лагерь два с половиной месяца назад, получил из четырёх возможных первую рабочую категорию, обещавшую ему достойный труд на любых участках, невзирая на погоду. До июня пробыл в карантинной, тринадцатой, роте, отработав месяц на разгрузках в порту. Грузчиком Артём пробовал себя ещё в Москве, лет с четырнадцати – и к этой науке был приурочен, что немедленно оценили десятники и нарядчики. Кабы ещё кормили получше и давали спать побольше, было б совсем ничего.

Из карантинной Артёма перевели в двенадцатую.

И эта рота была не из лёгких, режим немногим мягче, чем в карантинной. В 12-й тоже трудились на общих работах, часто вкалывали без часов, пока не выполнят норму. Лично обращаться к начальству права не имели – исключительно через комвзводов. Что до Василия Петровича с его французским – так Эйхманис в лесу с ним первым заговорил.

Весь июнь двенадцатую гоняли частью на баланы, частью на уборку мусора в самом монастыре, частью корчевать пни и ещё на сенокос, на кирпичный завод, на обслуживание железной дороги. Городские не всегда умели косить, другие не годились на разгрузку, кто-то попадал в лазарет, кто-то в карцер – партии без конца заменяли и смешивали.

Баланов – работы самой тяжёлой, муторной и мокрой – Артём пока избежал, а с пнями намучился: никогда и подумать не мог, насколько крепко, глубоко и разнообразно деревья держатся за землю.

– Если не рубить корни по одному, а разом огромной силою вырвать пень – то он в своих бесконечных хвостах вынесет кус земли размером с купол Успенской! – в своей образной манере то ли ругался, то ли восхищался Афанасьев.

Норма на человека была – 25 пней в день.

Дельных заключённых, спецов и мастеров переводили в другие роты, где режим был попроще, – но Артём всё никак не мог решить, где он, недоучившийся студент, может пригодиться и что, собственно, умеет. К тому же решить – это ещё полдела; надо бы, чтоб тебя увидели и позвали.

После пней тело ныло, как надорванное, – наутро казалось, что сил больше для работы нет. Артём заметно похудел, начал видеть еду во сне, постоянно искать запах съестного и остро его чувствовать, но молодость ещё тянула его, не сдавалась.

Вроде бы помог Василий Петрович, выдав себя за бывалого лесного собирателя – впрочем, так оно и было, – заполучил наряд по ягоды, протащил за собой Артёма, – но обед в лес каждый день привозили остывший и не по норме: видно, такие же зэки-развозчики вдосталь отхлёбывали по дороге, а в последний раз ягодников вообще забыли покормить, сославшись на то, что приезжали, но разбредшихся по лесу собирателей не нашли. На развозчиков кто-то пожаловался, им влили по трое суток карцера, но сытней от этого не стало.

На ужин нынче была гречка, Артём с детства ел быстро, здесь же, присев на лежанку Василия Петровича, вообще не заметил, как исчезла каша; вытер ложку об испод пиджака, передал её старшему товарищу, сидевшему с миской на коленях и тактично смотревшему в сторону.

– Спаси Бог, – тихо и твёрдо сказал Василий Петрович, зачерпывая разваренную, безвкусную, на сопливой воде изготовленную кашку.

– Угу, – ответил Артём.

Допив кипяток из консервной банки, заменявшей кружку, вспрыгнул, рискуя обрушить нары, к себе, снял рубаху, разложил её вместе с портянками под собой как покрывало, чтоб подсушились, влез руками в шинель, накрутил на голову шарф и почти сразу забылся, только сумев услышать, как Василий Петрович негромко говорит беспризорнику, имевшему обыкновение во время кормёжки несильно дёргать обедающих за брюки:

– Я не буду вас кормить, ясно? Это ведь вы у меня ложку украли?

Ввиду того, что беспризорник лежал под нарами, а Василий Петрович сидел на них, со стороны могло показаться, что он говорит с духами, грозя им голодом и глядя перед собой строгими глазами.

Артём ещё успел улыбнуться своей мысли, и улыбка сползла с губ, когда он уже спал – оставался час до вечерней поверки, зачем время терять.

В трапезной кто-то дрался, кто-то ругался, кто-то плакал; Артёму было всё равно.

За час ему успело присниться варёное яйцо – обычное варёное яйцо. Оно светилось изнутри желтком – будто наполненным солнцем, источало тепло, ласку. Артём благоговейно коснулся его пальцами – и пальцам стало горячо. Он бережно надломил яйцо, оно распалось на две половинки белка, в одной из которых, безбожно голый, призывный, словно бы пульсирующий, лежал желток – не пробуя его, можно было сказать, что он неизъяснимо, до головокружения сладок и мягок. Откуда-то во сне взялась крупная соль – и Артём посолил яйцо, отчётливо видя, как падает каждая крупинка и как желток становится посеребрённым – мягкое золото в серебре. Некоторое время Артём рассматривал разломанное яйцо, не в силах решить, с чего начать – с белка или желтка. Молитвенно наклонился к яйцу, чтобы бережным движением слизнуть соль.

Очнулся на секунду, поняв, что лижет свою солёную руку.

\* \* \*

Из двенадцатой выходить ночью было нельзя – парашу до утра оставляли прямо в роте.

Артём приучил себя вставать между тремя и четырьмя – шёл с ещё зажмуренными глазами, по памяти, с сонной остервенелостью счёсывая с себя клопов, пути не видя... зато ни с кем не делил своего занятия.

Обратно возвращался, уже чуть различая людей и нары.

Беспризорник так и спал прямо на полу, видна была его грязная нога; "...как не подох ещё..." – подумал Артём мимолётно. Моисей Соломонович храпел певуче и разнообразно. Василий Петрович во сне, не первый раз заметил Артём, выглядел совсем иначе – пугающе и даже неприятно, словно сквозь бодрствующего человека выступал иной, незнакомый.

Укладываясь на ещё не остывшую шинель, Артём полупьяными глазами осмотрел трапезную с полутора сотнями спящих заключённых.

"Дико! – подумал, зажмуриваясь, испуганно и удивлённо. – Лежит человек, ничего не делает, и так... большую часть... жизни..."

В другом конце вспыхнула спичка – кто-то, не стерпев, захотел перебить хоть одно клопиное семейство при свете. Клопы даже ночью непрерывно ползли по стойкам нар, по стенам, падали откуда-то сверху...

Артём открыл на малый всполох спички глаза, увидел, как кто-то из второго взвода полез в чужой мешок. Встретился взглядом с вором, зажмурился, отвернулся, забыл навсегда.

Тут же разбудил утренний, пятичасовой колокол, и спустя несколько мгновений заоравший Афанасьев:

– Рота, подъём!

Сегодня Артём ненавидел Афанасьева; вчера кричал другой дневальный, гортанным голосом, – и ненависть была к нему.

Через минуту плохо различимый в противной полутьме Моисей Соломонович уже пел:

– Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Куда ушёл ваш китайчонок Ли?

Артём скоился на китайца, ночевавшего совсем рядом, но тот, похоже, не слышал слов песни: сидел на своём втором ярусе, гладил шею и лицо, словно под руками вновь обретал себя, своё тело и сознание.

– Ты, бля, оперетка, заткнись! – крикнул кто-то из ещё не поднявшихся с нар блатных.

Моисей Соломонович споткнулся на середине слова.

– Я же вроде бы негромко, – сказал он в никуда, разводя руками.

Молчал Моисей Соломонович, впрочем, недолго – вскоре снова еле слышно заурчал что-то – вносили пищу.

Можно было встать в очередь и ждать минут сорок, пока дойдёт до тебя – но Артём развивал в себе терпение, чтоб не тратить время впустую.

Пересев под лампочку, успел подшиться и полистать местный, в лагере выпускаемый самими же зэками журнал "Соловецкие острова" – Василий Петрович брал в библиотеке, видимо, для поддержания едкой неприязни к лагерной администрации на должном уровне. Артём в журнале читал чаще всего поэтическую страничку – надо сказать, весьма слабую, разве только Борис Ширяев, не без старания слагавший с чужих голосов, обращал на себя внимание. Освободился он или ещё нет?.. Журнальные стихи, какими б они ни были, Артём заучивал наизусть – и повторял их про себя иногда, сам не очень понимая зачем.

Только разобравшись со всеми этими делами, Артём встал в очередь: как раз оставалось несколько человек.

– Артём, вы не передумали? – поинтересовался Василий Петрович, возвращая ему вымытую ложку.

– Нет, не пойду, – ответил Артём с улыбкой, сразу поняв, что речь идёт о наряде. – Не хлопочите за меня, не стоит.

– Поставят вас на баланы, голубчик, и взвоете. Не вы первый. Одумайтесь, – строго сказал Василий Петрович. – Я пять дней подряд делал полторы нормы на ягодах – сегодня меня поставили старшим. Скоро на северо-восточном берегу пойдёт смородина и малина, имейте в виду. У них тут к тому же растёт замечательная ягода шикша – она же сика, очень

полезная, судя по названию.

– Нет, – повторил Артём. – У меня с моей... шикшой всё в порядке.

– В лесу можно увидеть настоящего полевого шмеля – как у нас, в Тульской губернии, – совсем уж беспомощно прибавил Василий Петрович. – А крапиву в человеческий рост, помните, с вами встретили? А птицы? Там птицы поют!

– Там одна птица так стрекочет – словно затвор передёргивают, неприятно, – сказал Артём. – И комарья в лесу втрое больше. Не хочу.

– Вам ещё зиму предстоит пережить, – сказал Василий Петрович. – Вы ещё не знаете, что такое соловецкая зима!

– А вы и зимой собрались ягоды собирать? – посмеялся Артём, тут же укорив себя за некоторую дерзость, но Василий Петрович и вида не подал.

Моисей Соломонович даром что пел, а всё слышал. Нежданно оказался возле нар Василия Петровича и, прервав песню, спросил:

– Освобождается место в бригаде? Артём не хочет? И правильно – он юн, зол, крепок! Василий Петрович, я мог бы, пусть на время, заменить Артёма. Не смотрите на меня так неприязненно, вы даже не знаете, как я точно вижу ягоду в траве, у меня дар!

Василий Петрович только рукой махнул и пошёл по каким-то своим делам.

– Так мы договорились? – звал его Моисей Соломонович, ласково глядя вслед. – Я вас отблагодарю, у меня на днях ожидается посылка от мамочки.

Мамочкой Моисей Соломонович называл и жену, и саму мать, нескольких своих разной степени родства тёток и, кажется, кого-то ещё.

– А вас, Артём, ждёт замечательная водолечебница на Соловецком курорте, – сказал Моисей Соломонович, подмигнув большим, как яйцо, глазом. – Заезд на три года даёт гарантию крепкого здоровья на весь век. У вас ведь три?

Артём прыгнул со своих нар и как-то так спросил “А у вас?” – что Моисей Соломонович сразу пропал.

– Остолоп, – сказал Артёму вдруг образовавшийся возле нар Крапин. – Сдохнешь.

Он имел такое обыкновение: нагрубить и потом ещё стоять с минуту, ждать, что ответят. Артём молчал, закусив губу и глядя мимо комвзвода, думая два слова: “Проклятый кретин”. Артём боялся, что его ударят, и ещё больше боялся, что все увидят, как его ударили.

Моисей Соломонович вроде бы разбирался с вещами и перетряхивал свои кофты, но по спине было видно: он слушает изо всех сил, чем всё закончится.

Скомандовали построение на утреннюю поверку.

Строились в коридоре. На выходе сильно замешкались, с кем-то начали пререкаться, набывшись лбами, чеченцы, всегда державшиеся вместе, Крапин, у которого в руке был дрын – палка для битья, – подогнал блатных, которых не любил особенно и злобно, а они ему отвечали затаённой ненавистью; досталось дрыном среди иных будто бы случайно Артёму, но Артём был уверен, что Крапин видел, кого бил, и ударил его нарочно.

– Больно? – пока строились, участливо спросил Василий Петрович, видя, как скривился Артём.

– Мама моя так шутила, когда мы с братом собирались к вечеру и просили ужинать: “А мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам!” – вдруг вспомнил Артём, невесело ухмыляясь. – Знала бы...

Пока томился в строю, Крапин не шёл у него из головы. Глядя перед собой, он всё равно, до рези в глазу, различал слева, метрах в десяти, покатым красным лоб и приросшую мочку уха.

Артём никак не хотел стать причиной насупленного внимания и малопонятного раздражения комвзвода: жаловаться тут некому, управы не найдёшь – зато на тебя самого... управу найдут скоро.

С первого дня в лагере он знал одно: главное, чтоб тебя не отличали, не помнили и не видели все те, кому и не нужно видеть тебя, – а сейчас получилось ровно наоборот. Артём не пугался боли – его б не очень унизило, когда б ему попало как равному среди всех

остальных; тошно, когда тебя зачем-то отметили.

“Дались этому крестину мои наряды, – с грустью и одновременной злобой думал Артём. – Я никакой работы не боюсь! Может, я в ударники хочу, чтоб мне срок уполовинили! Черники мне столько не собрать с этой, мать её, шикшой”.

Пока размышлял обо всём этом, не заметил, как дошла до него перекличка заключённых, и очнулся, только когда его толкнули локтем.

– Какое число? – в ужасе спросил Артём стоявшего рядом, то был китаец, и он, коверкая язык, повторил свой номер в строю – Артём вспомнил, что именно эта цифра только что звучала, и назвал следующую.

Поймал боковым зрением ещё один взбешённый взгляд Крапина.

“Что ж такое!” – выругался на себя, желая, как в детстве, заплакать, когда случалась такая же нелепая и назойливая череда неудач.

– Смирррно! Равнение на середину! – проорал ротный.

Ротным у них был грузин – то ли по прозвищу, то ли по фамилии Кучерава – невысокий, с глазами навывкате, с блестящими залысинами тип, твёрдо напоминавший Артёму беса. Как и все ротные в лагере, он был одет в темно-синий костюм с петлицами серого цвета и фуражку, которую носить не любил и часто снимал, тут же отирая грязным платком пот с головы.

– Здравствуй, двенадцатая рота! – гаркнул Кучерава, выпучивая бешеные глаза.

Артём, как учили, сосчитал до трёх и во всю глотку гаркнул:

– Здра! – хоть криком хотелось ему выделиться: но разве кто заметит твою ретивость в общем хоре?

Ротный доложил дежурному по лагерю о численном составе и отсутствии происшествий.

Чекист принял доклад и сразу ушёл.

– Отщепенцы, мазурики, филоны и негодяи! – с заметным акцентом обратился к строю ротный, который выглядел так, словно пил всю ночь и поспал час перед подъёмом; глаза его были красны, чем сходство с бесом усиливалось ещё сильнее. – Выношу повторное предупреждение: за игру в карты и за изготовление карт...

Дальше ротный, не стыдясь монастырских стен, дурно, к тому же путая падежи – не “...твою мать”, а отчего-то “...твоей матери”, – выругался. Потом долго молчал, вспоминая и, кажется, время от времени задрёмывая.

– И второе! – вспомнил, качнувшись. – В сентябре возобновит работу школа для заключённых лагеря. Школа имеет два отделения. Первое – по ликвидации полной безграмотности, второе – для малограмотных. Второе в свою очередь разделяется ещё на три части: для слабых, для средних, для относительно сильных. Кроме общей и математической грамоты будут учить... этим... естествознанию с географией... и ещё обществоведению.

Строй тихо посмеивался; кто-то поинтересовался, будут ли изучать на географии, как короче всего добраться из Соловков в Лондон, и научат ли, кстати, неграмотных английскому языку.

– Да, научат, – вдруг ответил ротный, услышав нечутким ухом разговоры в строю. – Будут специальные кружки по английскому, французскому и немецкому, а также литературный и натуралистический кружки, – с последними словами он едва справился, но смысл Артём уловил.

Рядом с Артёмом стоял колчаковский офицер Бурцев, всегда подтянутый, прилизанный, очень точный в делах и движениях – его небезуспешно выбритая щека брезгливо подрагивала, пока выступал Кучерава. Характерно, что помимо Бурцева во взводе был рязанский мужик и бывший красноармеец Авдей Сивцев, кстати, малограмотный.

Ротный, пока боролся со словами, сам несколько распросонился.

– Половина из вас читать и писать не умеет. – “А другая половина говорит на трёх языках”, – мрачно подумал Артём, косясь на Бурцева. – Вас всех лучше бы свести под размах! Но советская власть решила вас обучить, чтобы с вас был толк. Неграмотные учатся

в обязательном порядке, остальные – по желанию. Желаящие могут записываться уже сейчас, – ротный неровным движением вытер рот и махнул рукой, что в это нелёгкое для него утро обозначило команду “вольно!”.

– Запишемся в школу – от работы освободят будут? – выкрикнул кто-то, когда строй уже смешался и загудел.

– Школа начинается после работы, – ответил ротный негромко, но все услышали.

Кто-то презрительно хохотнул.

– А вам вместо работы школу подавай, шакалы? – вдруг заорал ротный, и всем сразу расхотелось смеяться.

С нарядами разбирались тут же – за столиками сидели нарядчики, распределяли, кого куда.

Пока Артём ждал своей очереди, Крапин прошёл к одному из столов – у Артёма от вида взводного зазудело в спине, как раз там, куда досталось дрыном.

Зуд не обманул – на обратном пути Крапин бросил Артёму:

– Привыкай к новому месту жительства. Скоро насовсем туда.

Василий Петрович, стоящий впереди, обернулся и вопросительно посмотрел на Артёма – тот пожал плечами. Меж лопатками у него скатилась капля пота. Левое колено крупно и гадко дрожало.

Нарядчик спросил фамилию Артёма и, подмигнув в тусклом свете “летучей мыши”, сказал:

– На кладбище тебе.

Авдей Сивцев всё искал очередь, которая записывается в школу. Никакой очереди не было.

\* \* \*

Работа оказалось не самой трудной, зря пугался.

А они даже обнялись с Василием Петровичем на прощанье – тот, как и собирался, опять отправился по ягоды, захватив на этот раз Моисея Соломоновича.

– Артём... – начал торжественно Василий Петрович, держа его за плечи.

– Ладно, ладно, – отмахнулся тот, чтоб не раскиснуть совсем. – Хотел бы наказать Крапин – отправил бы на глиномялку... Узнаем сейчас, что за кладбище. Может, меня в певчие определили.

В Соловецком монастыре оставался один действующий храм – святого Онуфрия, что стоял на погосте. С тех пор как лагерь возглавил Эйхманис, там вновь разрешили проводить службы и любой зэка, имевший “сведение” – постоянный пропуск на выход за пределы монастыря, – мог их посещать.

– Певчие в Онуфриевской – да! В церквах Советской России таких не сыскать, – сказал Василий Петрович, разувываясь. – Моисей Соломонович и туда просился, Артём. Но там целая очередь уже выстроилась из оперных артистов. Такие баритоны и басы, ох...

Артёма направили, конечно, не в певчие, а на снос старого кладбища в другой стороне острова.

С ним в бригаде были Авдей Сивцев, чеченец Хасаев, казак Лажечников, представлявшийся всегда по имени-отчеству: “Тимофей Степаныч” – что, к слову сказать, вполне шло к его курчавой бороде и мохнатым бровям: “У такой бороды с бровями отчество быть обязано”, – говорил Василий Петрович по этому поводу Артёму в своей тёплой, совсем не саркастической манере.

– Пошто кресты-то ломать? – спросил Сивцев конвойного, когда дошли.

Вообще говорить с конвойными запрещалось – но запрет сплошь и рядом нарушался.

– Скотный двор тут будет, – сказал конвойный хмуро; по виду было не понять, шутит или открывает правду.

– И так монастырь переделали в скотный двор, по кладбищам пошли теперь, – сказал

мужик негромко.

Конвойный смолчал и, присев на лавочку возле крайней могилки, вытащил папироску из портсигара.

“Наверняка у какого-нибудь местного бедолаги забрал”, – мельком подумал Артём.

Винтовки при охраннике не было – конвой часто ходил без оружия; а на многих работах охраны не было вообще. Конвойных набирали из бывших, угодивших в лагерь чекистов – в основном, надо сказать, безусловной сволочи.

Говорили, что, если сложатся удобные обстоятельства – и, естественно, при наличии оружия, – конвойный может убить заключённого – за грубость или если приглянулась какая-то вещь, вроде этого портсигара, – а потом наврать что-нибудь про “чуть не убёг, товарищ командир”.

Но Артём сам таких случаев не видел, в разговоры особенно не верил, к тому же дорогих вещей у него при себе не было, а бежать он не собирался. Некуда бежать – вся жизнь впереди, её не обгонишь.

Появился десятник, по дороге отвлекшийся на ягоды; в руке держал один топор, а второй – под мышкой. Ещё издали заорал, плюясь недожёванной ягодой:

– Что стоим? На всю работу – один день! Чтоб к вечеру не было тут ни кладбища, ни крестов... ни надгробий! Всё стаскиваем в одну кучу! Пока не сделаем работу – отбоя не будет! Хоть до утра тут ковыряйтесь! Спать будете в могилах, а не уйдёте!

– Скелеты тоже вынать наружу? – спросил Сивцев.

– Я из тебя скелет выну наружу! – ещё громче заорал десятник.

– Ну-ка за работу, трёханая ты лошадь! – нежданно гаркнул, вскочив с лавки, конвойный на Сивцева.

Тот шарахнулся, как от горячей головни, ухватился за подвернувшийся старый крест на могиле и повалился вместе с ним.

С этого и пошла работа.

“Кладбище так кладбище, – успокаивал себя Артём. – Дерево рубишь – оно хотя бы живое, а тут все умерли”.

Поначалу Артём считывал имена похороненных монахов, но через час память уже не справлялась. Зацепилась только одна дата – его рождения, но сто лет назад, в тот же день и тоже в мае. Дата смерти была – 1843-й, декабрь.

“Мало... – с усмешкой, то ли о покойном, то ли о себе, подумал Артём; и ещё подумал: – Что там у нас будет в 1943-м?”

Было солнечно; на солнце всегда вилось куда меньше гнуса.

Сначала Артём, потом чеченец, а следом Лажечников разделись по пояс. Один Сивцев так и остался в своей рубахе: как у большинства крестьян, шея его была выгоревшей, морщинистой, а видневшееся в ворота рубахи тело – белым.

Все понемногу вошли в раж: кресты выламывали с остервенением, если не поддавались – рубили, Сивцев ловко обходился со вверенным ему топором; ограды раскачивали и, если те не рушились, крушили и топтали. Надгробия сначала сносили в одно место и складывали бережно, будто они ещё могли пригодиться и покойные потом бы их заново разобрали по могилам, разыскав свои имена.

– Извиняйте, потревожим, – приговаривал казак Лажечников, читая имена, – ...Елисей Савватьевич... Тихон Миронович... и вы извиняйте, Пантелемон Иванович... – но потом запыхался, залился потом, заткнулся. Через час всякий памятник уже раскурочивали без почтения и пощады, поднимали с криком, тащили, хрипло матерясь, и бросали как упадёт.

Будто бы восторг святотатства отражался порой в лицах.

“Есть в том грех, нет? – снова рассеянно думал Артём, тяжело дыша и поминутно отирая лоб. – Когда бы я так лежал в земле – стало б мне обидно... что креста надо мной нет... а надгробный камень с моим именем... свален вперемешку... с остальными... далеко от могилы?”

Отвлёк от раздумий Сивцев – улучил минутку и, проходя мимо конвойного, сказал



негромко:

– А про лошадь так нельзя, милоч. На лошади весь крестьянский мир едет. Ты сам-то всю жизнь в городе, наверно? Родаки из фабричных?

– Чего? – не понял конвойный; Сивцев ушёл со своим обломанным деревянным крестом к общей куче, где их было под сотню, а то и больше.

– Ни мёртвым, ни живым... покоя большаки... не дают, – шептал мужик, которого молчание, похоже, томило больше всех.

Работу сделали неожиданно скоро – всех мёртвых победили на раз.

Кресты смотрелись жутковато: будто случилась большая драка меж костлявых инвалидов.

Запалил костёр с одной стороны десятник, не отказавший себе в удовольствии, а с другой – чеченец, который потом всё яростней и яростней суеился возле огня, поправляя торопливо занявшееся дерево и закидывая то, что осыпалось к ногам, в самый жар.

Огонь был высок, сух, прям.

– Они уж в раю все, – сказал Сивцев про кресты, успокаивая даже не Артёма, а скорее себя. – Мёртвым кресты не нужны, кресты нужны живым – а для живых тут родни нету. Мы безродные теперь.

Когда догорело, десятник скучно осмотрел место бывшего кладбища. Делать было нечего на этой некрасиво разрытой, будто обмелевшей – и обомлевшей земле. Разве что надгробные камни унести ещё дальше, побросать в воду или закопать – но такого приказа не поступало.

Артём вдруг болезненно почувствовал, что все мертвецы отныне и навек в земле – голые. Были прикрытые, а теперь – как дети без одеял в стылом доме.

“И что? – спросил себя. – Что с этим делать?”

Тряхнул головой и – забылся, забыл.

В кремль пошли засветло.

Чеченец внешне был привычно хмур, но внутренне чем-то будто бы возбуждён. Уже на подходе, когда сложенные из валунов монастырские стены начали доносить свой особый тяжёлый запах, вдруг твёрдо произнёс:

– Нам сказали б ломать своё кладбище – никто не тронул. Умер бы, а не тронул. А вы сломали.

– Врёшь, сука, – сразу скривил взбесившееся лицо побагровевший Лажечников.

– Сука это говорит, – ответил чеченец почти по слогам.

У Лажечникова так натянулась толстая, какая-то костяная жила на шее, что показалось: оборви её – и голова завалится набок. Он сделал шаг в сторону чеченца, заранее растопырив руки и раскрыв пальцы так, словно бы собирался чеченца пощекотать под бока, но конвойный крикнул: “Ну-ка!” – и толкнул Лажечникова в спину.

– В роте доскажем, – посулился чеченцу Лажечников.

Но минуту спустя не стерпел:

– Мы из терских. Когда вас, воров, давили – вы кладбища за собой не утаскивали, оставляли нам своих покойников, чтоб мы потоптали.

– Да, да, – согласился чеченец, и это его “да, да” прозвучало как вскрик какой-то крупной щетинистой птицы. – Вы так можете: сначала чужое кладбище потоптать, потом своё.

Лажечникова снова всего передёрнуло, он резко оглянулся, в напрасной надежде, что конвойный куда-то пропал – но нет, тот шёл, и лицо его было равнодушно.

– Ты, что ль, не слышишь, как тут христиан поносят? – спросил Лажечников в сердцах.

– Это ты у кого спросил про христиан? – коротко посмеялся чеченец, скосившись на конвойного. – Нету больше вашего Бога у вас – какой это Бог, раз в него такая вера!

– Чеченцы тоже христианами были раньше, давно... – вдруг сказал Артём, очарованный в детстве повестями Бестужева-Марлинского и с разлёта перечитавший тогда всё, что нашёл о Кавказе.

Хасаев посмотрел на Артёма так, как смотрят на неожиданно влезшего в беседу старших ребёнка, и, смолчав, только подвигал челюстью.

Артём мысленно обругал себя: зачем влез, дурак.

“Ой, дурак, – повторял пока шли по монастырскому двору. – Ой, дурак, дурак, дурак, весь день дурак...”

Так часто повторял, что даже забыл, по какому поводу себя ругает.

В роте всем им выдали по пирожку с капустой за ударный труд.

– И не знаешь, что с им делать – прожевать или подавиться, – сказал Сивцев, хмурясь на пирожок, как если бы тот был живой; но всё-таки съел и собрал потом с колена крошки.

До ужина оставался ещё час, и Артём успел поспать, заметив, что в роте Лажечников и Хасаев как разошлись, так и не попытались договорить.

Лажечников перебирал своё изношенное тряпье на нарах так внимательно и придирчиво, как, наверное, смотрел у себя на Тереке конскую упряжь или рыболовные снасти, а чеченец негромко перешёптывался со своими – издали казалось, что они разговаривают даже не словами, а знаками, жестами, быстрыми оскалами рта.

\* \* \*

Артёма растолкал Василий Петрович; тут же раздалось и пение Моисея Соломоновича про лесок да соловья – верно, наваял сбор ягод.

– Как я вам завидую, Артём, – такой крепкий сон, – говорил Василий Петрович, и голос у него был уютный, будто выплыл откуда-то из детства. – Даже непонятно, за что могли посадить молодого человека, спящего таким сном праведника в аду. Ужин, Артём, вставайте.

Артём открыл глаза и близко увидел улыбающееся лицо Василия Петровича и ещё ближе – его руку, которой он держался за край нар Артёма.

Поняв, что товарищ окончательно проснулся, Василий Петрович мигнул Артёму и присел к себе.

– Праведники, насколько я успел заметить, спят плохо, – нарочито медленно спускаясь с нар и одновременно потягивая мышцы, ответил Артём.

С аппетитом ужина поганой пшёнкой, Артём размышлял о Василии Петровиче, одновременно слушая его, привычно говорливого.

Сначала Василий Петрович расспросил, что за наряд был на кладбище, покачал головой: “Совсем сбесились, совсем...”, – потом рассказал, что нашёл ягодные места и что Моисей Соломонович обманул – зрение на чернику у него отсутствовало напрочь; скорей всего, он вообще был подслеповат. “Ему надо бы по кооперативной части пойти...” – добавил Василий Петрович.

Артём вдруг понял, что казалось ему странным в Василии Петровиче. Да, умное, в чём-то даже сохранившее породу лицо, прищур, посадка головы, всегда чем-то озадаченный, разборчивый взгляд – но вместе с тем он имел сухие, цепкие руки, густо покрытые белым волосом – притом что сам Василий Петрович был едва седой.

Артём неосознанно запомнил эти руки, ещё когда собирали ягоды, – пальцы Василия Петровича обладали той странной уверенностью движений, что в некоторых случаях свойственна слепым – когда они наверняка знают, что́ вокруг.

“Руки словно бы другого человека”, – думал Артём, хлебной корочкой с копеечку величиной протирая миску. Хлеб выдавался сразу на неделю, у Артёма ещё было фунта два – он научился его беречь, чтоб хватало хотя бы до вечера субботы.

– Вы знаете, Артём, а когда я только сюда попал, условия были чуть иные, – рассказывал Василий Петрович. – До Эйхманиса здесь заправлял другой начальник лагеря, по фамилии Ногтев, – редкая, даже среди чекистов, рептилия. Каждый этап он встречал сам и лично при входе в монастырь убивал одного человека – из револьвера: бамс – и смеялся. Чаще всего священника или каэра выбирал. Чтоб все знали с первых шагов, что власть тут не советская, а соловецкая – это была частая его присказка. Эйхманис так не говорит, заметьте,

и уж тем более не стреляет по новым этапам. Но что касается пайка – тогда ещё случались удивительные штуки. Когда северный фронт Белой армии бежал, они оставили тут большие запасы: сахар в кубиках, американское сало, какие-то невиданные консервы. Не скажу, что нас этим перекармливали, но иногда на стол кое-что перепадало. В тот год тут ещё жили политические – эсэды, эсеры и прочие анархисты, разошедшиеся с большевиками в деталях, но согласные по сути, – так вот их кормили вообще как комиссарских детей. И они, кроме всего прочего, вовсе не работали. Зимой катались на коньках, летом качались в шезлонгах и спорили, спорили, спорили... Теперь, верно, рассказывают про своё страшное соловецкое прошлое – а они и Соловков-то не видели, Артём.

В котомке за спиной Василий Петрович принёс грибов, которые, видимо, собрался сушить, а в собственноручно и крепко сшитом мешочке на груди приберёт немного ягод. Присев, некоторое время раскачивал мешочком так, чтоб было заметно из-под нар. Вскоре появились две грязные руки, сложенные ковшом – туда и чмокнула смятая ягодная каша. Ногти на руках были выдающиеся.

– А я ведь ни разу не видел его лица, – вдруг сказал Артём, кивнув на руки беспризорника, которые тут же исчезли.

– А пойдёте на воздух, погуляем по монастырю, – предложил Василий Петрович, помолчав. – Сегодня у них театр – во дворе не настольколюдно, как обычно. К тому же у меня есть одно неприятнейшее дельце.

Артём с удовольствием согласился.

Возле мраморной часовенки для водосвятия стояли две старинные пушки на лафетах. Артёму почему-то они часто снились, и это был пугающий, болезненный сон. Более того, Артём был отчего-то уверен, что впервые увидел этот сон с пушками ещё до Соловков.

Они дошли до сквера между Святительским и Благовещенским корпусами. Артём был не совсем сыт и не очень отоспался, но всё-таки поспал, всё-таки поел горячего, и оттого, по-юношески позёвывая, чувствовал себя почти довольным. Василий Петрович, всегда размышляющий о чём-то неслучайном и нужном, торопился чуть впереди – в своей даже летом неизменной кепке английского образца – похоже, стеснялся лысеющей головы.

Стоял пресветлый вечер, воздух был пышен, небо насыщенно и старательно раскрашено, но за этими тихими красками будто бы чувствовался купол, некая невидимая твердь.

“В такое небо можно как в колокол бить”, – сказал как-то Афанасьев.

С запада клоками подгоняло мрачную тучу, но она была ещё далека.

“Как за бороду в ад тащат эту тучу”, – подумал Артём, осмысленно подражая Афанасьеву, и про себя улыбнулся, что недурно получилось: может, стихи начать писать? Он – да, любил стихи, только никогда и никому об этом не говорил: а зачем?

В сквере стояли или прогуливались несколько православных священников, почти все были в старых латаных и перелатанных рясах, но без наперсных крестов; один – в красноармейском шлеме со споротой звездой: на подобные вещи давно никто не обращал внимания, каждый носил, что мог. Василий Петрович кивком обратил внимание Артёма, что отдельно на лавочке сидят ксендзы, сосредоточенные и чуть надменные.

– Как я заметил, вы замечательно скоро вписались в соловецкую жизнь, Артём, – говорил Василий Петрович. – Вас даже клопы как-то не особо заедают, – посмеялся он, но тут же продолжил серьёзно: – Лишних вопросов не задаёте. Разговариваете мало и по делу. Не грубы и не глупы. Здесь многие в первые же три месяца опускаются – либо становятся фитилями, либо идут в стукачи, либо попадают в услужение к блатным, и я даже не знаю, что хуже. Вы же, я наблюдаю, ничего особенного не предпринимая, миновали все эти угрозы, будто бы их и не было. Труд вам пока даётся – вы к нему приспособлены, что редкость для человека с умом и соображением. Ничего не принимаете близко к сердцу – и это тоже завидное качество. Вы очень живучи, как я погляжу. Вы задуманы на долгую жизнь. Не будете совершать ошибок – всё у вас сложится.

Артём внимательно посмотрел на Василия Петровича; ему было приятно всё это

слышать, но в меру, в меру приятно. Тем более что Артём знал в себе дурацкие, злые, сложно объяснимые замашки, а Василий Петрович – ещё нет.

– Здесь много драк, склок, – продолжал тот, – вы же, как я заметил, со всеми вполне приветливы, а к вам все в должной мере равнодушны.

– Не все, – сказал Артём.

– Ну да, ну да, Крапин. Но, может, это случайность?

Артём пожал плечами, думая про то, как всё странно, если не сказать диковато: извлечённый из своей жизни, как из утробы, он попал на остров – если тут не край света, то край страны точно, – его охраняет конвой, если он поведёт себя как-то не так – его могут убить, – и вместе с тем он гуляет в сквере и разговаривает в той тональности, как если бы ему предстояло сейчас вернуться домой, к матери.

– На моей памяти он никому особенно не навредил, – продолжал Василий Петрович про Крапина. – Вот если с ротным у вас пойдёт всё не так – тогда беда, беда! Кучерава – ящер. Впрочем, вас обязательно переведут куда-нибудь в роту полегче, в канцелярию... будет у вас своя келья – в гости меня тогда позовёте, чаю попить.

– Василий Петрович, – поинтересовался Артём, – а что же вы до сих пор не сделали ничего, чтоб перебраться подальше от общих работ? Это ж, как вы говорите, главный закон для любого сидельца, собирающегося пережить Соловки, – а сами? Вы ж наверняка много чего умеете, кроме ягод.

Василий Петрович быстро посмотрел на Артёма и, убрав руки за спину, ответил:

– Артём, да я здесь как-то прижился уже. Зачем мне другая рота, моя рота – это лес. Вот вам маленькая наука: всегда старайтесь выбрать работу, куда берут меньше людей. Она проще. Тем более что у меня вторая категория – деревья валить не пошлют. Так что куда мне торопиться, досижу своё так. Я в детстве бывал капризен – здесь отличное место, чтоб смириться.

Звучало не совсем убедительно, но Артём, иронично глянув раз и ещё раз на Василия Петровича, ничего не сказал, благо что тот быстро перевёл разговор на иную тему:

– Обратите внимание, например, на этих собеседников. Знаете, кто это? Замечательные люди – на улицах Москвы и Петрограда вы таких запросто не встретите. Только на Соловках! Слева, значит, Сергей Львович Брусилов – племянник генерала Брусилова, того самого, что едва не выиграл Вторую Отечественную войну, а потом отказался драться против большевиков. Сергей Львович, если меня не ввели в заблуждение, капитан Балтийского флота – то есть был им. Но и здесь тоже имеет некоторое отношение к местной флотилии, соловецкой. Беседует он с господином Виоляром... Виоляр – ещё более редкая птица: он мексиканский консул в Египте.

– Заблудился по дороге из Америки в Африку и попал на Соловки?

– Примерно так! Причём заблудился, завернув в Тифлис, – улыбнулся Василий Петрович. – У него жена – русская, а точнее, грузинка. Если совсем точно – грузинская княжна, восхитительная красавица, только немного тонковата, на мой вкус...

– Откуда вы знаете? – с неожиданным любопытством поинтересовался Артём.

– Слушайте, Артём! – Василий Петрович мягко поднял свою седую руку, будто бы останавливая собеседника в его поспешности. – Не так давно господин Виоляр решил заехать на родину своей жены, погостить, отведать грузинской кухни и прочее. Вместо этого он был арестован тифлисским ГПУ и препровождён сюда. Надо бы у нашего ротного поинтересоваться, в чём там дело, но я стараюсь лишний раз с нашим Кучеравой не сталкиваться.

– А жена? – так и не дождался Артём.

– А жена тоже здесь, – уже шёпотом продолжил Василий Петрович, потому что они приближались к спокойно и с безусловным достоинством внимающему собеседнику Брусилову и активно жестикующему Виоляру; беседа шла на английском. – Но она, естественно, в женбаре.

На минуту, пока проходили мимо этой пары, замолчали.

– А вот тот, кого я ищу, – обрадовался Василий Петрович. – Владычка обещал нам сметанки с лучком.

Артём успел подумать, какое хорошее слово – “владычка”, – но упоминание сметанки с лучком подействовало ещё сильнее, и в одно мгновение он почувствовал, что рот его полон слюной, – даже самому смешно стало, как это не по-человечески, будто он собака какая-то.

– Отец Иоанн! – сказал Василий Петрович.

Им навстречу, улыбаясь, шёл высокий человек в рясе, с окладистой расчёсанной рыжеватой бородою, с длинными, чуть выющимися и не очень чистыми волосами – он был явно не молод, но, пожалуй, ещё красив: тонкая, немного изогнутая линия носа, маленькие уши, чуть впавшие щёки, не очень заметные брови, добрый прищур.

Василий Петрович поклонился, отец Иоанн быстрым движением перекрестил его темя и подал худощавую веснушчатую руку для поцелуя.

В этом движении, заметил Артём, который в церковь не ходил по стихийному неверию, напрочь отсутствовал даже намёк на унижение человеческого достоинства, но имелось что-то ровно противоположное, возвышавшее как раз Василия Петровича.

Артём с тёплым удивлением поймал себя на мысли, что тоже хотел бы поцеловать эту руку, – ему помешала даже не гордость, а страх сделать это как-то неправильно. Он остался стоять чуть поодаль, но отец Иоанн поприветствовал и его, ласково кивнув, – и в этом жесте не было никакого посылы, который оскорбил бы Артёма; то есть священник не говорил ему: ничего, что ты не подошёл под благословение, я понимаю, как это трудно, да и опасно в наши нелёгкие дни. Нет, священник поприветствовал его так, словно бы ничего вообще не случилось и он безусловно рад встретить Артёма, который наверняка хороший и добрый молодой человек.

– Как вы, отец Иоанн? – спросил Василий Петрович.

– Милостию Божией здоров, – ответил тот очень серьёзно и продолжил, говоря будто бы и не о своём теле, а о чём-то отдельном от него, за чем он забавным образом приставлен наблюдать. – Все члены работают без отказа и без муки. На колене вспухла какая-то зараза, но, Бог даст, сойдёт сама. А то, что на сердце иногда холодок, – так зиму в сердце пережить проще, чем зиму соловецкую. Сердце, если ищет, – найдёт себе приют в любви распятого за нас, а когда ноги босые и стынет поясница – тут далеко не убежишь, – отец Иоанн засмеялся, Василий Петрович подхватил смех, и Артём тоже улыбнулся: не столько словам, сколько очарованию, исходящему от каждого слова владычки.

– Но надо помнить, милые, – говоря это, чуть прихрамывающий владычка Иоанн посмотрел на Артёма, пошедшего справа, и тут же на мгновение обратил взор к идущему слева Василию Петровичу, – адовы силы и советская власть – не всегда одно и то же. Мы боремся не против людей, а против зла нематериального и духовного. В жизни при власти Советов не может быть зла – если не требуется отказа от веры. Ты обязан защищать святую Русь – оттого, что Русь никуда не делась: вот она лежит под нами и греется нашей слабой заботой. Лишь бы не забыть нам самое слово: русский, а всё иное – земная суета. Вы можете пойти в колхоз или в коммуны – что ж в том дурного? – главное, не порочьте Христова имени. Есть начальник лагеря, есть начальник страны, а есть начальник жизни – и у каждого своя работа и своя нелёгкая задача. Начальник лагеря может и не знать про начальника жизни, хоть у него сто чекистов и полк охраны в помощниках, Информационный отдел, глиномаялка и Секирка за пазухой, – зато начальник жизни помнит про всех, и про нас с вами тоже. Не ропщите, терпите до конца – безропотным перенесением скорбей мы идём в объятия начальнику жизни, его ласка будет несравненно чище и светлее всех земных благ, таких скороспелых, таких нелепых.

Артём внимал каждому сказанному отцом Иоанном слову: его успокаивала не какая-то вдруг открывшаяся веская правда, а сама словесная вязь.

Единственное, что отвлекло, – так это прошедший мимо негр: губастый, замечательно чёрный, высокий – он улыбнулся Артёму, показав отличные зубы с отсутствующим передним.

– Дела и заботы снедают нас, – говорил отец Иоанн, сладко, как от солнца, щурясь. – Тому из заключённых, кто здесь прибил к канцелярскому столу, как к плоту в море, – проще. Тому, кто кривляется на театральных подмостках, – им тоже легче, их кормят за любимое дело. А кому выпали общие работы – куда как тягостней. Наше длинноволосое племя, – тут отец Иоанн тряхнул своей чуть развевающейся гривой и тихонько засмеялся, – принято в заведующие и сторожа, оттого что не имеет привычки к воровству. Не всем так пособляет, спору нет! К тому же многие из попавших сюда страдальцев ещё и не берегут своих братьев по несчастью, но, напротив, наносят лишние бремена на таких же слабых и униженных, как они. И мыкается, не затухая, искра Христова то в стукаче, то в фитиле, то в заключённом в карцер. Но какие бы ни были заботы у нас, помните, что ещё до своего рождения он возвещал нам через пророка Исайю: “На кого воззрю? Только на кроткого и молчаливого!” Ступайте по жизни твёрдо, но испытывайте непрестанные кротость и благоговение пред тем, кто неизбежно подаст всем служившим Ему свою благодатную помощь!

Артём отвернулся в сторону, пока Василий Петрович угощал владычку Иоанна ягодами, а тот, в свою очередь, передал ему свой свёрток.

Обратно шли едва ли не навеселе, вели спотыкливый разговор и сами спотыкались, полные смешливой, почти мальчишеской радости. Даже привязчивые, крикливые и проносящиеся над головой чайки не портили настроения.

Встретили женщину – ещё вполне себе ничего, лет сорока, в шали, в сносных ботинках, в мужских штанах и мужском пиджаке, который она держала запахнутым на груди. Артём разглядывал её, пока не разминулись.

Над главными воротами крепили огромный плакат с надписью: “Мы новый путь земле укажем. Владыкой мира будет труд!”.

– А ведь это наше общение ему навесело... – сказал Василий Петрович, имея в виду Эйхманиса. – Про монахов, которые спасались в труде?

– Думаете? – ответил Артём. – Едва ли...

Навстречу им попался Моисей Соломонович, который поначалу шёл молча, но за несколько шагов до Артёма и Василия Петровича вдруг запел – без слов, словно слова ещё не нашлись, а музыка уже возникла.

Они улыбнулись друг другу и разошлись – не подпевать же.

– Клянусь вам, – прошептал Артём Василию Петровичу, – он чувствует пищу! В присутствии съестного он начинает петь!

– С чего вы взяли? – спросил Василий Петрович, но пакет перехватил покрепче.

Дорожки внутри монастыря были посыпаны песком, повсюду стояли клумбы с розами, присматривать за которыми были определены несколько заключённых. Артём иной раз на разные лады представил себе примерно такой разговор: “На Соловецкой каторге был? Чем занимался? – Редкие сорта роз высаживал! – О, проклятое большевистское иго!”

На одной из центральных клумб был выложен слон из белых камней.

СЛОН означал: Соловецкие лагеря особого назначения.

\* \* \*

Чтоб не возбуждать блатных в роте своим пиршеством, ни с кем не делиться и не потворствовать певческому вдохновению Моисея Соломоновича, Василий Петрович предложил чудесный план ужина: в келье одного своего знакомого из белогвардейцев.

– Бурцев присоединится, у них тоже имеется для нас угощение – устроим пир, – Василий Петрович был взбудоражен и возбуждён, как перед свиданием. – Нет ли сегодня какого-нибудь праздника, Артём? Желательно не большевистского? – спросил он, наклонившись к Артёму, и, отстранившись, обаятельнейшим образом подмигнул ему.

В понимании Артёма Василий Петрович представлял собой почти идеальный тип русского интеллигента – который невесть ещё, выживет ли в Советской России: незлобивый,

либеральный... с мягким юмором... единственным ругательным словом у него было неведомое “шморгонцы”... слегка наивный и чуть склонный к сентиментальности... но притом обладающий врождённым чувством собственного достоинства.

Их ничем особенно не объяснимое товарищество случилось при, ну, не самых обычных обстоятельствах.

Ещё будучи в тринадцатой роте, Артём получил первую посылку от матери.

Он уже становился свидетелем, как блатные отбирают у заключённых принесённые в роту продукты или вещи, и, сумрачно раздумывая, как ему быть, по пути в роту откусывал и глотал огромными кусками присланную конскую колбасу.

Тут и объявился впервые пред Артёмом Василий Петрович: двенадцатая и тринадцатая роты соседствовали, располагаясь в разных помещениях одного и того же храма.

– Вижу ваше сомнение, молодой человек, – представившись, сказал он, то ли смущаясь своей роли, то ли играя это смущение. – Вы ведь из карантинной? Часть вашего этапа блатные раздели ещё по дороге, в трюмах парохода “Глеб Бокий”. Остальных раздевают и объедают уже в роте. Я тоже через всё это проходил в своё время. У меня есть к вам простое предложение. Доказать честность своих намерений мне сложно, а то и невозможно, – целовать крест в наши дни – не самый убедительный поступок, и честное большевистское я вам дать не могу, поскольку не большевик. Но я знаю, как вам уберечь эту посылку. Выслушаете?

Артём подумал и кивнул, прижав мешок, в который пересыпали материнские гостинцы, чуть покрепче.

– Если вы передадите посылку в мои руки, я, в свою очередь, спрячу её у своего доброго знакомого – владыки Петра, заведующего каптёркой Первого отделения. И он сохранит ваши продукты в целости. Обратившись ко мне, вы сможете забирать оттуда нужное вам частями, каждый вечер, после ужина – и до вечерней поверки.

Артём некоторое время разглядывал своего нового знакомца и неожиданно решил ему довериться.

– Что я вам буду за это должен? – только спросил Артём.

– Уж сочтёмся как-нибудь, – ответил Василий Петрович смиренно.

Не откладывая, на другой же день Артём после ужина нашёл Василия Петровича. Награды тот не требовал, но Артём, естественно, угостил его воблой. Тем более что в посылку, похоже, никто не проникал: если колбасу Артём догрыз в первый же день, то сухую воблу пересчитал, а мешочки с сахаром и с сухофруктами перевязал своим узлом и точно заметил бы, что теперь завязано иначе.

В тот же раз они подробно разговорились.

Артём, конечно, мог предположить, что Василий Петрович поддерживает с ним отношения в ожидании следующей посылки – но человеческое чувство старательно убеждало его, что дело обстоит иначе: здесь, думал он, имеет место простая человеческая приязнь – потому что отчего ж к Артёму не относиться хорошо, он и сам к себе неплохо относился.

“Тем более всем тут надо жить, – завершил рефлексии по этому поводу Артём. – Разве интеллигент – это тот, кто первым должен подохнуть?”

Потом Артёма перевели из карантинной в двенадцатую, в тот же день по досрочному освобождению ушёл бытовик, спавший выше ярусом над Василием Петровичем, и Артём занял пустое место.

Очередную посылку он снова припрятал через Василия Петровича, поделившись с ним и в этот раз.

Когда бродили за ягодами, Василий Петрович в минуту роздыха, вкратце рассказал Артёму историю о том, как угодил на Соловки.

В 1924 году по старым ещё знакомствам Василий Петрович несколько раз попал на вечеринки во французское посольство: недавнее полуголодное прошлое военного коммунизма приучило всех наедаться впрок, а французы кормили.

“Накрывают красиво, а съесть нечего”, – сетовал, впрочем, Василий Петрович.

Раз сходил, два, в третий раз на обратном пути попросили сесть в машину и увезли в ОГПУ. Определили как французского шпиона, хотя следствие было из рук вон глупое и доказать ничего не могли совершенно.

– Позорище! – горячился Василий Петрович, однако результат был веским: статья 58-я, часть 6 – шпионаж.

– А у вас что? – спросил тогда Василий Петрович, потирая руки так, словно Артём собирался угостить его, к примеру, варёной картошечкой.

– У чужой бабы простоквашу выпил – заработал кнута и Сибирь, – отмахнулся Артём.

– Артём, мне всё равно, но вы должны знать, что здесь так не принято, – с несколько деланой строгостью, в манере хорошего учителя сказал Василий Петрович. – Если вас спросят, к примеру, блатные, за что угодили на Соловки, – придётся ответить. Потом, разве вы не рассказывали о своей статье на следствии, когда сидели в камере? В камере сложно смолчать – могут подумать, что вы подсаженный.

– Глупость, – сказал Артём. – Как раз подсаженный научен красиво врать.

– Неужели вы бытовик? – всё не унимался Василий Петрович. – А вид у вас, как у законченного каэра! Не верю, что вы способны украсть!

Артём, усмехаясь, покивал, но так ничего и не ответил. Шёл неоглядой, жил неоглядой, задорный, ветреный. Надолила судьба – живу теперь в непощаде. Главное – никогда не вспоминать про отца, а то стыд съест и душа надорвётся.

– ...Да и общаетесь с каэрами по большей части, – продолжал Василий Петрович, поглядывая на Артёма.

– Я общаюсь с нормальными людьми, – ответил тот, потому что от него ожидался хоть какой-то ответ.

– И как нормальный человек относится к большевикам? – поставил Василий Петрович неожиданный вопрос.

– У меня младший брат – он пионер и очень бережёт свой красный галстук. А мне нет до большевиков никакого дела. Случились и случились. Пусть будут, – выкладывая слово за словом продуманно, то есть в несвойственной ему манере, ответил Артём.

\* \* \*

Пока Василий Петрович нарезал лучок, Артём осматривал келью.

Он был откровенно удивлён.

Высокие белёные потолки. Дощатые, не так давно крашенные в коричневый цвет полы. Вымытое окно почти в человеческий рост. Всего две лежанки. Одна не застелена – на ней доски. Зато на другой – покрывало с тигром, видна белоснежная простыня, подушка взбита и, кажется, ароматна. Над кроватью – полочка с книгами: несколько английских романов, Расин, некто Леонов с заложенным неподалёку от начала сочинением “Вор”, Достоевский, Мережковский, Блок – которого Артём немедленно схватил и раскрыл с таким чувством, словно там было письмо лично ему.

Прочёл несколько строк – закрыл глаза, проверил, помнит ли, как там дальше, – помнил; бережно поставил томик на место.

Стол был покрыт скатертью, на столе – электрическая лампочка с расписанным акварелью абажуром, в углу иконка с лампадкой, на гвоздике серебряный крест – Артём коснулся его и чуть качнул.

В нише окна размещались фотография женщины и фарфоровая собачка – белая в чёрных пятнах, с закрученным хвостиком, надломленным на самом кончике.

“А так и в лагере можно жить... – подумал Артём. – Потом ещё будешь вспоминать об этом...”

– Да, Артём, да, так можно жить даже в лагере, – подтвердил Василий Петрович.

Артём никогда б не поверил, что мог произнести последнюю мысль вслух, – он был



молодым человеком, нисколько не склонным к склерозу, – однако на мгновение всё равно замешкался.

– Ну да, – сказал, справившись с собою. – Догадаться несложно. А что Бурцев? Где он?

Василий Петрович, не отвечая, по-хозяйски взял плошку из самодельного шкафа, вылил туда сметанку.

Изучив убранство, Артём уселся на крепкую табуретку меж столом и окошком, стараясь не смотреть, как Василий Петрович ножом ссыпал лучок в плошку и начал всё это большой ложкой размешивать, изредка посыпая солью, – о, как хотелось эту ложку облизать!

Артём взял фарфоровую собачку, повертел её в руках и аккуратно провёл пальцем по линии надлома на хвостике, глотая непрестанную слюну.

– Ах, Артём, как я любил кормить свою собаку, – Василий Петрович выпрямился и, лирически шмыгнув носом, вытер глаз кулаком. – Я ведь не охотник совсем, я больше... для виду. Ружьишко на плечо, и в лесок. Увижу какую птицу, вскину ствол – она испугается, взлетит, и я ругаюсь: “Ах, чёрт! Чёрт побери, Фет”, – я собаку назвал Фет, в шутку или из любви к Фету, не знаю, чего тут было больше... У Мезерницкого вроде бы имелся Фет? – Василий Петрович быстро глянул в сторону книжной полки и тут же забыл, зачем смотрел.

Он говорил, как обычно, прыгая с пятое на десятое, но Артём всё понимал – чего там было не понять.

– Ругаюсь на собаку так, – рассказывал Василий Петрович, – как будто всерьёз собирался выстрелить. И Фет мой, по морде видно, тоже вроде как огорчён, сопереживает мне. В другой раз я, учёный, ствол уже ме-е-едленно поднимаю. Фет тоже притаится и – весь – в ожидании! А я смотрю на эту птицу – и, знаете, никаких сил нет спустить курок. Честно говоря, я и ружьё-то, как правило, не заряжал. Но когда поднимаешь ствол вверх и прицеливаешься – всё равно кажется, что оно заряжено. И так жутко на душе, такой трепет.

Артём поставил собачку на место и взял портрет с женщиной, не столько смотря на её сомнительную прелесть – “...мать, что ли?” – сколько пытаюсь стеклом уловить последние лучи солнца и пустить зайчик по стене.

– И длится это, быть может, минуту, но, скорей, меньше – потому что минуту на весу ружьё тяжело держать. И Фет, конечно, не вытерпит и как залает. То ли на меня, то ли на птицу – уж не знаю на кого. Птица опять взлетает... А я смеюсь, и так хорошо на душе. Словно я эту птицу отпустил на волю.

“Пошлятина какая-то...” – подумал Артём без раздражения, время от времени поднимая глаза и с улыбкой кивая Василию Петровичу.

– И вот мы возвращаемся домой, – рассказывал тот, – голодные, по своей тропинке, чтоб деревенские не видели, что я опять без добычи, хотя они и так знали всегда... И Надя нам уже приготовила ужин – мне что-нибудь сочинила, а Фету из вчерашних объедков... – здесь Василий Петрович вдруг поперхнулся и несколько секунд молчал. – А я ему тоже в его плошку отолю вчерашних щец, хлебушка покрошу и даже, к примеру, жареной печёнки не пожалею, а сверху ещё яичко разобью – он, знаете, любил сырые яйца почему-то... И вот вынесу ему эту плошку, он сидит, ждёт... Поставлю перед ним – сидит, смотрит... Он будто бы стеснялся при мне есть. Или какое-то другое чувство, быть может. Я отойду подальше, говорю: “Ешь, милый, ешь!” И он, словно нехотя, словно бы в первый раз, начинает обходить эту плошку с разных сторон и обнюхивать её.

Артём снова проглотил слюну: если б вздумал открыть рот – так и плеснуло бы на скатерть.

“Странно, что это никогда не приходило мне в голову, – быстро даже не подумал, а скорей представил Артём. – Наверняка это очень вкусно: борщ, сверху насыпать жареной печёнки, наломать хлеба и умять его ложкой, так, чтобы борщ пропитал этот хлеб... И сверху разбить два или лучше три куриных яйца, чтоб они так неловко разлились по хлебу, кое-где смешавшись с борщом, но сам желток всё равно останется на поверхности... И с минуту принюхиваться к этому, а потом вдруг броситься есть, глотать кусками эту печёнку с капустой, хлеб с яйцом...”

– Артём, вы слушаете? – окликнул его Василий Петрович.  
 – К чёрту бы вас, – с трудом ответил Артём. – Давайте есть скорей. Где наши хозяева? Как вы сказали – Мезерницкий?

\* \* \*

Первым пришёл Бурцев – он кивнул Артёму как доброму знакомому, хотя, странная вещь, за полтора месяца они не перекинулись и несколькими словами – всё как-то не приходилось.

Но эта обустроенная келья разом сближала попавших сюда: они чувствовали себя как бы избранными и приобщёнными – к чистой пище, к выметенному и свежевывытому полу, к сияющей подушке, к чистой скатерти и фарфоровой собачке.

Бурцев, знал Артём по рассказам Василия Петровича, после Гражданской работал в варьете, потом где-то на административной должности. Обстоятельства своего ареста не особенно раскрывал.

По большей части он помалкивал; если выпадало время – почитывал что-то незатейливое из монастырской библиотеки, но Артём успел заметить и удивиться, что, если в присутствии Бурцева заходила речь о чём-то любопытном или кто-то рисковал обратиться непосредственно к нему, он несколько раз поддерживал разговоры на самые разные темы: от хореографического искусства Дункан и отличий Арктики от Антарктики до писем Константина Леонтьева к Соловьёву и очевидных преимуществ Брюсова над Бальмонтом – эту тему, естественно, Афанасьев затеял. В последний раз Бурцев подивил Василия Петровича неожиданными знаниями о ягодах и охоте, сообщив, что там, где растёт морошка, стоит охотиться на белую куропатку, а где брусника – искать глухаря; хотя неподалёку от брусники можно встретить и медведя тоже. Василий Петрович так искренне смеялся вполне серьёзному замечанию про медведя, что Бурцев имел все шансы попасть в ягодную бригаду – но он сам не захотел.

Находившийся рядом Сивцев, заслышав разговор, вдруг вспомнил, как на фронте видал медведя, приученного артиллерийской ротой подавать снаряды, но его по ягоды Василий Петрович не взял; да и Бурцев тему о медведе не продолжил.

Втайне прислушиваясь к неспешной речи Бурцева, Артём уяснил для себя, что морошка созревает наоборот: из красной в янтарно-жёлтую, и мужские цветки у неё дают больше ягод, чем женские, а брусника может пережить иной дуб – оттого, что живёт по триста лет.

Про Брюсова и Бальмонта Артёму было бы ещё любопытнее, чем про ягоды: Бальмонт был единственный поэт, приятный его матери; однако к Бурцеву он до сих пор так и не решился подойти. Всё это казалось нелепым – поесть трески и после, прогуливаясь вдоль нар, вдруг поинтересоваться: вот вы здесь накануне вели речь о символистах...

Притом что, в сущности, Бурцев казался неплохим человеком; и при некоторой своей внешней отчуждённости и хмурости на днях даже подпел Моисею Соломоновичу еврейскую песню – так что сам Моисей Соломонович замолчал от удивления.

– Мезерницкий уже идёт, велел накрывать на стол, – сказал Бурцев. – Где тут у него...

Бурцев открыл деревянный крашеный ящик возле окна – Артём сразу ощутил запах съестного.

– У нас сегодня шпик с белым хлебом, – сказал Бурцев просто.

– Вы ведь неплохо знаете друг друга? – спрашивал тем временем Василий Петрович то ли Бурцева, имея в виду Артёма, то ли наоборот: в итоге они оба ещё раз со спокойной симпатией встретились глазами – и в этом кратком взгляде содержалась и молодая тёплая ирония по отношению к суетливому старшему товарищу, и сама собой разумеющаяся договорённость о том, что объяснять Василию Петровичу причины их не очень близкого знакомства незачем, тем более что они никому не известны – так получилось.

– Это Артём, – не уловивший перегляд, продолжал Василий Петрович. – Добрый,

щедрый и сильный молодой человек, ко всему прочему, отличный грузчик, тайный ценитель поэзии и просто умница; вы сойдётесь!

Артём, всё время представления смотревший в стол, скептически пожевал пустым ртом, но на Василия Петровича всё это мало действовало.

– Наши Соловки – странное место! – говорил он. – Это самая странная тюрьма в мире! Более того: мы вот думаем, что мир огромен и удивителен, полон тайн и очарования, ужаса и прелести, но у нас есть некоторые резоны предположить, что вот сегодня, в эти дни, Соловки являются самым необычайным местом, известным человечеству. Ничего не поддаётся объяснению! Вы, Артём, знаете, что зимой на лесоповале здесь однажды оставили за невыполнение урока тридцать человек в лесу – и все они замёрзли? Что трёх беспризорников, убивших и сожравших одну местную соловецкую чайку, с ведома Эйхманиса поставили “на комарика”, привязав голыми к деревьям? Беспризорников, конечно, вскоре отвязали, они выжили – но у них на всю жизнь остались чёрные пятна от укусов. О, наш начальник лагеря очень любит флору и фауну. Знаете, что здесь организована биостанция, которая изучает глубины Белого моря? Что по решению Эйхманиса лагерники успешно разводят ньюфаундлендскую ондатру, песцов, шиншилловых кроликов, чёрно-бурых лисиц, красных лисиц и лисиц серебристых, канадских? Что здесь есть своя метеорологическая станция? В лагере, Артём! На которой тоже работают заключённые!

Артём пожал плечами, он был не очень удивлён – ему было почти всё равно: комарики, лисицы, метеостанция... Вот сметанка с лучком!

– Хорошо, а вы знаете, – сказал Василий Петрович, – что в бывшей Петроградской гостинице, которая за Управлением, на первом этаже живут соловецкие монахи из числа вольнонаёмных, а на втором – чекисты. И – дружат! Ходят друг другу в гости!

– Так белые люди приплывали в новую землю и поначалу ходили в гости к аборигенам, а потом, если те не изъявляли желания креститься и делиться золотом, жгли их селения и травили собаками... которых, надо сказать, индейцы никогда не видели – представьте ужас этих дикарей! – сказал Бурцев, вовсе без злобы и с явным удовольствием нарезая шпик тончайшими лепестками; на последних словах он поднял голову и улыбнулся кому-то, тихо вошедшему в келью и ставшему за спиной Артёма.

То был Мезерницкий – он быстро кивнул Артёму, давая понять: сидите, сидите, – и тут же, похохатывая, подхватил разговор:

– Разница только в том, что те не хотели начинать креститься, а наши монахи – не хотят прекращать.

– Господин Мезерницкий, разве это повод для шуток?! – всплеснул руками Василий Петрович.

– Товарищ Мезерницкий, – поправил тот. – Музыкант духового оркестра Мезерницкий, имею честь! – и, без перехода, повёл речь дальше: – Хорошо, вот вам другой пример: Василий Петрович наверняка завёл тему о парадоксах Соловков – не кажется ли вам забавным, что в стране победившего большевизма в первом же организованном государством концлагере половину административных должностей занимают главные враги коммунистов – белогвардейские офицеры? А епископы и архиепископы, сплошь и рядом подозреваемые в антисоветской деятельности, сторожат большевистское и лагерное имущество! И даже я, поручик Мезерницкий, играю для них на трубе – ровно по той причине, что сами они этому не обучены, но готовы исключительно за это умение освободить меня от общих работ. Знаете, что я вам скажу? Я скажу, что борьба против советской власти бессмысленна. Они сами не могут ничего! Постепенно, шаг за шагом, мы заменим их везде и всюду – от театральных подмостков до Кремля.

Бурцев со значением посмотрел на дверь, а Мезерницкий только махнул рукой:

– Ерунда! Не далее как вчера я это говорил Эйхманису лично.

– Говорил или не говорил – дело твоё, суть в том, что всё это легкомысленно, – ответил Бурцев без раздражения и даже с улыбкой. – Ты тут уже три года, друг мой, и оторвался от реальности. Тебе видней, что там с духовыми, а с хозяйством они понемногу учатся

справляться...

– Не знаю, не знаю, – прервал Мезерницкий, которому куда больше нравилось говорить самому. – Обратите, милые гости, внимание: на общих работах из числа офицеров работает только Бурцев, и то в силу его, простите, мон шер, нелепого упрямства, а остальные... – тут Мезерницкий начал загибать пальцы, вспоминая, – инспектор части снабжения, лагстароста, инженер-телефонист, агроном, два начальника производств и два начальника мастерских!.. Не всё, не всё!.. На железной дороге – наши! На электростанции – наши! В типографии – наши! На радиоузле – наши! Топографией занимаются наши! И даже в пушхозе – наши!

– И непонятно, как мы при таких талантах проиграли большевикам войну, – негромко, ни к кому не обращаясь, заметил Бурцев.

– Притом что, – вновь не обращая ни на кого внимания, говорил Мезерницкий, – учтите, с 20 года я абсолютно аполитичен. Командование Белой армии своей глупостью и подлостью примирило меня с большевиками раз и навсегда. Но зачем же отрицать реальность. Соловки – это отражение России, где всё как в увеличительном стекле – натурально, неприятно, наглядно!

Бурцев вместо ответа, как бы в раздумчивости, покусал губы – он закончил нарезать хлеб и осмотрел стол так, словно это была карта успешно начинающихся батальных действий.

Артём изучающе и быстро оглядывал их – Бурцева и Мезерницкого.

Бурцев был невысок, кривоног, с чуть вьющимися тёмно-русыми волосами, черноглаз, тонкогуб... пальцы имел тонкие и запястья тоже, что казалось странным для человека, задействованного на общих работах, хоть и не очень давно: насколько Артём помнил, Бурцев появился на Соловках на месяц раньше его, с первым весенним этапом.

Мезерницкий был высок, сутуловат, волосы имел прямые и чуть сальные, часто шмыгал носом, как человек, пристрастившийся к кокаину – в чём на Соловках его подозревать было невозможно. Он разнообразно жестикулировал; Артём заметил его давно не стриженные ногти.

Когда Мезерницкий ногтем с чёрной окаёмкой придерживал белый, разнежившийся в тепле лепесток шпика, это было особенно видно.

\* \* \*

Спор быстро закончился: сметана с луком, белый хлеб, шпик примирили всех.

Самое сложное было есть медленно – Артём обратил внимание, что не ему одному.

Потом Василий Петрович и Бурцев затеялись в шашки: первый – заметно возбуждаясь партией, второй – почти равнодушный к расстановке сил на клетках, Мезерницкий недурно играл на мандолине, Артём тихо блаженствовал, полулёжа на голой лежанке, иногда думая: "...Какие хорошие люди, как я хочу им быть полезен...", иногда будто задрёмывая, а просыпаясь от того, что на лицо садилась одна и та же настырная муха.

С пиджака на доску выпал клоп: Артём поспешил его убить.

...Распрощавшись с Мезерницким, во дворе столкнулись с идущим из театра возбуждённым и раскрасневшимся народом. Кто-то, как водится, ещё обсуждал представление, кто-то уже думал о завтрашней работе и спешил отоспаться – но вообще ощущение было, как всегда, диковатое: заключённые идут вперемешку с начальством лагеря и вольнонаёмными, женщины накрашены, иные одеты вполне по моде, кое-кто из мужчин тоже не в рванье.

Завидев театральную публику, Василий Петрович тут же, едва попрощавшись, ушёл в роту, Бурцев, быстро покулив, тоже кивнул Артёму – будто бы и не было их молчаливого взаимопонимания в келье.

Зато появился Афанасьев, выпавшийся после своего дневальства и с виду очень довольный.

Он был рыжий, встрёпанный, чуть губастый – ему вообще шло хорошее настроение.

– Из театра? – заинтересованно спросил Артём; всё-таки, кажется, ему удалось минут пятнадцать проспять под мандолину – он вновь испытывал, конечно, не бодрость, но некоторое оживление.

Афанасьев мотнул головой.

– Что давали? – спросил Артём.

– Да ну, – весело отмахнулся Афанасьев, – Луначарского. Хотя всё это, Артём, впечатляет даже с Луначарским. Какая там казёрочка играет, а? Плакать хочется.

Афанасьев что-то ещё говорил про спектакль, сумбурное, – словно хотел объяснить замысел режиссёра, а в уме всё равно представлял исключительно казёрочку.

Они прогуливались взад-назад по быстро пустеющему вечернему дворику, Артём кивал, кивал, кивал и не заметил даже, как Афанасьев перекинулся на другую тему, самую главную для него.

– Тёма, ты только подумай, каких стихов я понапишу, вернувшись! Я в стихи загоню слова, которых там не было никогда! Фитиль! Шкеры! Шмары! Поэма “Мастырка”, представь? У нас ведь ни один поэт толком не сидел!

– Декабристы сидели, – вспомнил Артём.

– Да какие там поэты! – снова отмахнулся Афанасьев.

– Маяковский вроде сидел, – ещё вспомнил Артём.

– Да какой там, – снова не согласился Афанасьев. – Не то всё, не то! Соловки – это, Тёма, особый случай! Это как одиссея – когда он в гостях у Полифема...

– Ну да, Полифем, шкеры, шмары – это будет... салат! – усмехнулся Артём, вспомнив тут же про сметану с лучком.

– Да что ты понимаешь! – вроде бы даже чуть озлился Афанасьев. – Будущее поэзии за корявыми словами, случайными. Ломоносов писал про три штиля – высокий, средний, низкий, – так надо ещё ниже зачерпнуть, из навоза, из выгребной ямы, и замешать со штилем высоким – толк будет, поверь!

– По мне, таким образом только басню можно сочинить: “Полифем и фитиль”, – нарочно подзуживал Афанасьева Артём.

– Какой у вас разговор любопытный, о мифологии, – сказал кто-то негромко.

Оба разом обернулись и увидели Эйхманиса. Застыли, как пробитые двумя гвоздями насквозь.

– Добрый вечер! – сказал Эйхманис спокойно.

– Здра! – выкрикнул Афанасьев, как всегда кричали на поверке; что до Артёма, он лихорадочно, путаясь в мыслях, как в загоревшейся одежде, пытался вспомнить: успели они за последнюю минуту произнести какую-нибудь контрреволюционную глупость или нет.

– Здра, гражданин начальник! – выкрикнул и Артём. Так было положено отзываться на приветствие начальника лагеря.

На замечание Эйхманиса по поводу мифологии никто не рискнул ответить.

Эйхманис кивнул головой, в смысле – вольно. По всей видимости, он направлялся к воротам – как всегда без охраны, только всё с тою же своей спутницей, которая сейчас, как и в прошлую встречу, в лесу, смотрела мимо.

Вблизи оказалось, что Эйхманис выше среднего роста – и выше Артёма с Афанасьевым, – что он строен, сухощав и от него пахнет одеколоном. Он был в хорошей гражданской одежде: коричневый пиджак, брюки, высокие остроносые ботинки.

У ворот, заметил Артём, ждал красноармеец, держа двух лошадей за поводья.

Жил Эйхманис в четырёх верстах от монастыря, неподалёку от Савватиевского скита, в Макариевской пустыни. Говорили, что он выстроил себе там огромный приполярный дом, что характерно – в нарочитом отдалении от своих подчинённых чекистов. На поверках Эйхманис появлялся редко, а занимался, рассказывали, куда чаще охотой, биосадом, питомником лиственниц и хвойных, которых начали в этом году высаживать по всему острову...

Артём осторожно, исподлобья разглядывал его лицо. Правильные, крупные, но в

чём-то – редкого типа и даже изысканные черты лица, зачёсанные назад волосы, белые, достаточно крупные зубы, улыбающиеся, но одновременно будто недвижимые глаза – он был красив, напоминал какого-то известного поэта десятых годов и мог бы располагать к себе. Только в линии скул – слишком скользкой, делающей лицо более худым, чем на самом деле, – было что-то неприятное и болезненное.

На спутницу Эйхманиса Артём так и не рискнул взглянуть, но хотелось.

– Вы так и трудитесь в двенадцатой роте, Афанасьев? – спросил Эйхманис, улыбаясь.

– Да! – тряхнул рыжей головой Афанасьев и добавил для верности: – Именно!

Эйхманис снова, теперь уже прощаясь, кивнул, и пара пошла к воротам.

– Чёрт! – тихо засмеялся Афанасьев, когда услышали постук копыт. – А я заладил: Полифем, Полифем... Ничего мы такого не успели сказать? Нет ведь?

Артём тоже, с непонятным чувством, улыбался.

Не дождавшись ответа, Афанасьев сказал:

– Говорят, он знает всех заключённых по именам!

– Да быть не может, – ответил Артём, поразмыслив. – Сколько тут тысяч? Пятнадцать рот!.. Нет, невозможно.

– Ну, хорошо, хорошо, – быстро согласился Афанасьев, но тут же отчасти раздумал: – Половину – наверняка! Начальников производств, командиров рот, взводных, десятников, актёров, музыкантов, священников знает... Все это говорят! Меня вот тоже откуда-то помнит.

– Итожим: он знает нужный ему народ, – предположил Артём с несколько напускной серьёзностью.

– Думаешь? – обрадовался Афанасьев, не услышав иронии, хотя до сего момента различал любые интонации. – Может, меня вытащат из двенадцатой роты наконец. Куда угодно! Жаль только, я руками делать ничего не умею. Что же, черт меня дери, я писал стихи! Нет был бы топографом. Или столяром. Или умел играть на барабане. Или, в конце концов, готовить что-нибудь вкусное. Ты знаешь, что тут в лазарете работает бывший повар Льва Троцкого? Что тут свой придворный живописец – по фамилии Браз? Он бывший профессор Императорской академии художеств!

– Так попросись придворным поэтом к Эйхманису, – предложил Артём. – Будешь ему оды сочинять на каждое утро. “Ода на посещение Эйхманисом питомника шиншилловых кроликов”!

– Издеваться только тебе, – отмахнулся Афанасьев.

– Зачем же он тогда спрашивал, в какой ты роте? Тут два объяснения могут быть: либо зовёт тебя в придворные поэты, либо хочет на Секирку перевести. Тебе как больше нравится?

Секиркой звали штрафной изолятор на Секировой горе, располагавшийся в бывшей церкви, верстах в восьми от кремля. Рассказывали про тот изолятор невесёлое: там убивали людей.

Афанасьев выглядел очень обнадёженным и молчал, наверное, только оттого, что боялся спугнуть непонятную пока удачу.

– А кто с ним был? – спросил Артём негромко, не поясняя и не кивая головой в сторону уехавших; и так всё было ясно.

– Это Галя, блядь Эйхманиса, вольнонаёмная, работает в ИСО – Информационно-следовательском отделе, – ответил Афанасьев тихой скороговоркой безо всяких эмоций. – Тебя ещё не вызывала?

У Артёма от произнесённого Афанасьевым слова стало трепетно и тоскливо на душе: он даже чуть-чуть задохнулся. Женщины у него не было уже четыре месяца.

\* \* \*

Если б поднимали не в пять, а хотя бы в шесть – жизнь была бы куда проще. Но

поверки неизменно оказывались длинными, с нарядами тоже случалась путаница, поэтому на работу всё равно попадали поздно, иной раз к девяти; а если идти далеко, вёрст за несколько, то ещё позже.

Первым делом Артём вспомнил, как вчера его хвалил Василий Петрович; ну да, арестантская жизнь его вошла в колею: самое важное – не считать дни, а он перестал их считать на третьи сутки, приняв всё как есть. Оставалось малое – дотерпеть, дожить; впрочем, он пока не видел никаких причин, чтобы умереть, – жили и здесь. Жили слабые, вздорные, глупые, вообще не приспособленные к жизни – даже они.

Потом Артём вспомнил про Крапина, и крепкий настрой немного расшатался.

Всё утро старался не попадаться ему на глаза – получилось.

Василий Петрович купил себе ложку: тут же похвалился.

Афанасьев ходил задумчивый: его сняли с должности дневального, хотя вроде только что назначили. Это была хорошая должность, тёплая, особенно зимой. За место дневального держались всеми когтями.

Вместо Афанасьева дневалить стал чеченец – Хасаев; третий их соплеменник, самый молодой, тоже постоянно крутился в роте. Казак Лажечников теперь мимо дневальных стремился пройти поскорей, глядя в пол, а воду из бака возле поста перестал пить вовсе.

На поверке ротный Кучерава ругался так бестолково, нудно и мерзостно, что Артём почувствовал лёгкую тошноту.

Наряд ему выпал на баланы; Артём не удивился – к этому всё и шло.

“Баланы так баланы, посмотрим, что такое там...” – подбодрил себя Артём, довольный уже тем, что Крапин не обмерил его ещё раз дрыном, – вместо того взводный выбивал дух из какого-то блатного, не спешившего выйти на работу в кальсонах: других штанов не имелось.

– Лес ворочать? – смуро спросил Артёма Афанасьев. – И я тоже.

Помимо них тот же наряд выпал Моисею Соломоновичу, Лажечникову, Сивцеву, китайцу, битому Крапиным блатному, ещё двоим той же масти и какому-то малоприметному низкорослому мужичку, про которого Артём помнил только то, что он непрестанно бормочет, вроде как уговаривая самого себя.

Стояли во дворе, ждали десятника. С утра вечно не поймёшь, где лучше быть: в роте все орут и матерятся, а на улице эти неужённые, оголодавшие за ночь чайки. У Артёма однажды, едва заехал на Соловки, так же вот с утра чайка выхватила припасённый на потом хлеб. Заметившие это блатные посмеялись – было обидно. Артём почти всерьёз поклялся себе перед отбытием на материк оторвать крыло у одной чайки – чтоб сразу не сдохла и чтоб поняла, тварь, как это бывает, когда больно.

Вообще чаек стоило опасаться – они по-настоящему могли напасть и клюнуть, скажем, в глаз так, чтоб глаза не стало. Хлеб Артём ещё в роте спрятал, причём не в штаны, а в бельё – там тоже был удобный кармашек. Угощать он этим хлебом никого не собирался, а собой не брезговал.

– Почему не дневалишь больше? – всё-таки спросил он Афанасьева, – Только вроде заступил. Не самая трудная должность. Стихи можно было б сочинять – время есть.

Артём посмотрел на Афанасьева и понял, что тому не очень хочется шутить на эту тему.

– Это в ИСО решается, – ответил Афанасьев нехотя. – С Галей не сошёлся характерами.

Стоявший рядом Василий Петрович как-то странно взглянул на Афанасьева и отвернулся.

– А за чеченцев Кучерава попросил, – добавил Афанасьев спустя минуту. – Они ж там все соседи по горам.

Артём кивнул и, так как Афанасьев был не в духе, прошёл к Василию Петровичу, который опять получил бесконвойный наряд по ягоды и ожидал свою бригаду.

– Только не выражайте мне соболезнования, Василий Петрович, – за несколько шагов, улыбнувшись во все щёки, попросил Артём.

– Улыбайтесь, улыбайтесь, – сказал Василий Петрович печально и, лёгким движением

прихватив Артёма за локоть, немного развернул его в сторону; Артём, молодо ухмыляясь, подчинился.

– Вы, я смотрю, дружны с Афанасьевым, – внятно и негромко произнёс Василий Петрович. – Я вам хочу сказать, что на должность дневальных назначают строго стукачей, так что...

– Его ж как раз сняли с должности, – ответил Артём чуть громче, чем следовало бы, и Василий Петрович тут же своими очень уверенными и неестественно крепкими пальцами за локоток повернул Артёма ещё дальше, в сторону колонны священников, отправившихся строем на свою сторожевую работу.

Священники шли кто поспешливо, кто, напротив, старался степенно, но строй спутывал всех. Над ними кружились, иногда резко снижаясь, чайки... И эти бороды, и эти рясы, и эти чайки, иногда окропляющие белым помётом одежды священников, – всё вдруг будто остановилось в глазах Артёма, и он понял, что запомнит увиденное на целую жизнь – хотя ничего его не поразило, не оскорбило, не тронуло. Просто почувствовал, что запомнит.

– Шестая рота – не что-нибудь, – сказал кто-то громко и насмешливо. – Шестая рота – ангельская! – раз, два, и на небесах. За что страдают? Ни словом, ни делом, ни помышлением. Безвинно, во имя твоё, Господи.

– Смотрите, – говорил Василий Петрович очень спокойно. – Это Евгений Зернов, епископ Приамурский и Благовещенский. Это Прокопий, архиепископ Херсонский... Иувеналий, архиепископ Курский... Пахомий, архиепископ Черниговский... Григорий, епископ Печерский... Амвросий, епископ Подольский и Брацлавский... Киприан, епископ Семипалатинский... Софроний, епископ Якутский, – сменил одни холода на другую непогоду... Вот и наш владычка, батюшка Иоанн...

Василий Петрович в приветствии чуть склонил голову, прихрамывающий и оттого торопящийся больше других владычка Иоанн весело помахал рукой – что-то то ли очень детское, то ли старозаветно взрослое было в этом жесте. Будто бы ребёнок говорил: “Я не отчаиваюсь”, а древний человек вторил: “И вы не отчаивайтесь”, – и всё в одном взмахе.

– Вы откуда его так хорошо знаете? – спросил Артём.

– Отчего хорошо? – ответил Василий Петрович. – Просто нас доставляли сюда вместе, в одном трюме. Все были злы и подавлены – а он улыбался, шутил. Его даже блатные не трогали. Возле него как-то остро чувствуется, что все мы – дети. И это, Артём, такое тёплое, такое нужное порой чувство. Вы, наверное, ещё не понимаете...

Артём осмотрелся по сторонам и поинтересовался:

– А вот там, в сквере, он про советскую власть говорил – как вы думаете, правда?

Василий Петрович пожал плечами и быстрым движением убрал руки за спину.

– Всё правда. Правда, к примеру, то, что вы можете оказаться стукачом – он вас первый раз в жизни видел.

Артём невесело посмеялся, отметив для себя, что таким строгим Василия Петровича ещё не видел, и перевёл тему:

– Тут мне сказали, что Эйхманис помнит едва ли не весь лагерь по именам...

– Очень может быть, – ответил Василий Петрович задумчиво.

– А вы... всех этих священников... когда запомнили, зачем?

– Эйхманису их сторожить, а мне с ними жить, – бесстрастно сказал Василий Петрович, глядя прямо перед собой. – Я эти лица запомню и, если вернусь, расставлю дома, как иконки.

Артём ничего не ответил, но подумал по-мальчишески: а чем они святее, чем я? Я тоже жру суп с вяленой воблой или с безглазыми головами солёной рыбы и вместо мяса – палую конину; зато они сторожат, а я пойду сейчас брёвна таскать.

Василий Петрович тряхнул головой и, чтоб чуть снизить патетику, заговорил совсем другим тоном, куда доверительней, разом становясь тем человеком, который так нравился Артёму:

– Я тут подумал... отсюда, из Соловков, святость ушла ещё в пору Алексея Михайловича – знаете, Артём, наверняка эту историю, когда в 1666 году монастырь восстал



против Никоновой реформы? А спустя десять лет осады его взяли, и бунтовавших монахов, и трудников – всех закидали камнями, чтоб сабли не грязнить и порох не переводить. Как произошло это – так и не случилось на Соловках больше ни монашеских подвигов, ни святых. Двести с лишним лет монастырь качался на волнах – немалый срок. Как будто готовился к чему-то. И вот, не поверите, Артём, мне кажется, пришли времена нового подвижничества. Русская церковь именно отсюда начнёт новое возрождение... Вы, наверное, ребёнком ещё были, не помните, что за тяжкий воздух был до прихода большевиков.

“Как у нас в бараке?” – хотел спросить Артём, но не стал, конечно.

– Интеллигент возненавидел попа, – перечислял Василий Петрович. – Русский мужик возненавидел попа. Русский поэт – и тот возненавидел попа! Мне стыдно признаться – но и я, Артём, попа возненавидел... И не поймёшь сразу, за что! За то, что русский поп беспробудно пил? Так чего ж ему было делать? Ненавидят ведь не из-за чужой дурноты, а из-за своей пустоты куда чаще... Вы на Второй Отечественной не были, а я был и свидетельствую: когда солдатам предлагали исповедоваться перед боем – девять из десяти отказывались. Я увидел это сам и тогда уже – сам себе удивляясь! – понял: войну проиграем, а революции не убежать – народ остался без веры. Только этим и могло всё закончиться!.. Закончиться – и тут же начаться. Здесь.

– В тринадцатой роте, – вдруг вспомнил и не смолчал Артём, – параша стояла в алтаре. Помните? В моей партии был один священник – так он ни разу туда и не сходил. Ночью поднимался и шёл на улицу, в общий сортир. Пока ходил – его место занимали на нарах. Утром встаём – он сидя спит где-нибудь в уголке, чуть не замёрзший.

– И что вы думаете? – спросил Василий Петрович.

Артёму явственно захотелось позлить своего товарища – это было твёрдое и малообъяснимое чувство.

– Я думаю: дурак, – ответил Артём.

У Василия Петровича дрогнула челюсть – будто бы Артём у него на глазах толкнул больного; он отвернулся.

Его уже ждала собравшаяся партия с корзинами; появился и десятник Артёма, сразу заорал, как будто ему кипятком плеснули на живот.

– Да иду, – сказал Артём, скорей себе, чем десятнику, – иначе можно было бы и в зубы получить.

Десятник был такой же лагерник, сидевший за три то ли за пять убийств, родом – московский. Фамилия его была Сорокин. Он будто бы источал потаённую человеческую мерзость – кажется, она выходила из него вместе с потом: какая ни была бы вонь в бараке – Артём, едва приближался к Сорокину, чувствовал его дух. Под мышками у Сорокина всегда были тёмные, уже солью затвердевшие круги, влажные руки его мелко дрожали, щетина на лице тоже была влажная и вид имела такой, словно это не волосы, а грязь, вроде той, что остаётся на полу сеновала – колкая, пыльно-травяная сыпь.

Сорокин, как говорили, был любитель придумчиво забавляться над лагерниками – хотя, стоит сказать, каэров он не бил. Их по негласному завету лагерной администрации вообще не было принято трогать, так что желающие позверовать отыгрывались на бытовиках.

Шли на работу лесом, нагнали партию Василия Петровича, тот, оглянувшись, встретился глазами с Артёмом – и тут же отвернулся, болезненно, как от резкого колика, сморщившись.

Артём хотел было про себя пожалеть, что отказался идти по ягоды, но мысли эти прогнал. Про то, что зачем-то надерзил Василию Петровичу, он не думал. Характер у него был не зловредный, но эту черту – вдруг ткнуть в открытое – он за собой знал. И никак об том не печалился.

“Быть может, я не люблю, когда открывают то, что болит...” – подумал Артём, чуть улыбаясь.

“...Про веру рассказывает, – подумал ещё, – а сам Моисея Соломоновича убрал из своей бригады... Нет бы пожалел...”

Сорокин всю дорогу орал и матерился непонятно на кого и по какому поводу, как будто с утра поймал бациллу от Кучеравы. Даже конвойные на него косились.

Артём вдруг представил, как берёт большой сук, побольше, чем дрын Сорокина, и резко, с оттягом бьёт десятника по затылку. Это было бы счастье.

И сразу б такая тишина настала...

Пошли бы ягоды собирать, песню бы спели, костёр развели...

А то даже Моисей Соломонович не поёт.

Артём переглянулся с Афанасьевым – тот, показалось, мечтал о том же самом.

Лесом вышли к каналу, который, как сказал Лажечников, соединяет Данилово озеро с Перт-озером. По каналу сплавляли брёвна с лесозаготовок, именуемые баланами. Артём разглядывал их с берега тем взглядом, каким, наверное, смотрел бы на некую обильную речную хищную сволочь, которую предстояло вытащить за жабры на берег.

– Есть два золотых дня – вчера и завтра, – приговаривал мелкий, метра в полтора мужичок, стоявший возле Артёма. – Вчера уже прошло, Господь позаботился о том. Завтра я верю ему, он позаботится и о нём. И остаётся один день – сегодня. Когда я молитвенно свершаю свой труд.

– Этот? – спросил Артём, кивнув на плавающие баланы.

Мужичок посмотрел на Артёма, на баланы и ничего не ответил.

– Баланы нужно доставить на лесопильный завод, – огласил задачу для всех собравшихся десятник. – Общий урок на день: сто баланов... О чём смотрим?

– Э, а багры там, верёвки? – спросил блатной, которому с утра уже досталось от Крапина.

– Верёвка тебе будет, когда тебя повесят! – заорал десятник.

– Ну, багры тогда, – не унимался блатной и, конечно, своего дождался: Сорокин набежал на него, ещё издали потрясая дрыном, – блатной защищался и даже отмахивался исхудавшими грязными руками, получил и по рукам, и по бокам, и по башке. Только вскрикивал: “Начальник! Начальник! Чё творишь-то?”

На щеке блатного свисла клоком кожа, рука тоже сильно кровянила. “Раздевайся, в воду пулей! Дрын тебе в глотку, чтоб голова не шаталась!” – орал десятник. Блатной скинул свои драные порты – под портами он был голый, десятник сам потянул битого за рубаху к воде – рубаха так и разорвалась надвое.

Чтоб с ними то же самое не проделали, остальные поспешно начали раздеваться сами.

– Куда, бля! – заорал десятник, отстав наконец от блатного, который поскорей забежал в воду по пояс и стоял там, отирая кровь. – Разделись, бля, как в кордебалете! Самые молодые – в воду, остальные принимают баланы на берегу! Тупые мудалаи, мать вашу за передок!

“Про кордебалет знает, смотри ж ты”, – думал Артём, снимая штаны.

– Сука, холодная, – сказал один из блатных, заходя в воду.

“Да ничего, в самый раз, – подумал Артём. – Ночью дожди идут, чуть подостыла... Зато когда в воде – комаров меньше...”

– Нате, кровососы, даже кусать не надо, так слизывают, – вытянул битый блатной кровотокающую руку комарью и сипло засмеялся; по его виду казалось, что он не очень переживает о зуботычинах десятника.

Никто не хотел оставаться на берегу рядом с десятником: один за другим полезли Сивцев, Афанасьев, Моисей Соломонович. Мелкий мужичок прошёлся туда и сюда вдоль берега, всё повторяя: “Была бы спина – найдётся и вина!” – а потом тоже шагнул в воду.

Моисей Соломонович был ростом выше всех на голову – он шёл и шёл по воде, и ему всё было мелко; а мужичок, едва ступил, сразу как-то потерялся до подбородка и только вздыхал теперь: “Боже ты мой! Спаси, Господи!” Сделал ещё шажок – и едва не пропал вовсе.

– Куда ты полез, клоп! – заорал десятник на него. – Ну-ка, на берег! Ты что там, клоп, верхом на баланах будешь плавать? И ты, длинный, сюда, – указал на Моисея

Соломоновича. – У тебя руки как раз, чтоб принимать брёвна, вместо багра будешь.

У Сивцева было ещё крепкое тело, на спине весьма виднелся красноречивый шрам, кажется, от пашки. У Лажечникова такой же шрам шёл от плеча почти до соска.

Блатные были в наколках.

“Во, собрались какие все...” – подумал Артём неопределённо, косясь на своё чистое тело, даже без волос на груди.

Афанасьев, впрочем, тоже оказался без особых примет, только в мелких родинках.

Артём добрёл, бережливо ступая по дну, до первого балана – как раз оказалось по грудь – и двумя руками потянул дерево на себя, отдуваясь от комаров.

Тихо матерясь, явился к нему на помощь битый блатной.

– Ксива, – представился он.

На лице у Ксивы было несколько прыщей и ещё два на шее. Нижняя губа отвисала – невольно хотелось взять её двумя пальцами и натянуть Ксиве на нос.

Блатной протянул руку и, одновременно с тем как Артём пожал её, сказал глумливо:

– Держи пять, ГПУ даст десять.

Артём глубоко вдохнул носом и ничего не ответил.

– Ладно, не ссы в штаны, ссы в воду, – не унимался блатной и всё поглядывал на Артёма.

– Ты будешь тут свои поговорки говорить, или, может, давай поработаем? – сказал Артём, потому что уже надо было что-то сказать.

– Баба тебе будет давать, а ты в ней хер полоскать, – сказал блатной и снова засмеялся, издевательски глядя на Артёма. – Так что давай без давай. Десятника хватает.

– Слушай, – наклонился к нему Артём, стараясь говорить в меру миролюбиво. – У тебя есть напарники, – тут Артём кивнул на других блатных, с едким интересом прислушивающихся к их разговору, – ты с ними будь, а я буду со своим дружкой. Годится?

Афанасьев стоял тут же, несколько нарочито рассеянный и как бы не вникающий в чужой разговор.

Ксива толкнул балан так, чтоб он угодил бочиной в грудь Артёму, и только после этого сделал шаг назад. Напоследок ещё, ударив ладонью вскользь по воде, слегка обрызгал Артёма.

Тот не ответил: плескаться в ответ показалось глупым, и ударить сразу за это в лоб – тоже вроде не большого ума поступок. Стёр рукой брызги с лица, и всё.

\* \* \*

“А в воде попроще... – раздумывал Артём, отвлекая себя от противных мыслей о блатном, этом самом, как его, Ксиве, – работа получше, чем на берегу. Потому что одно дело – по воде толкать баланы к берегу, а другое дело – тащить их на себе посуху”.

Но Артём не угадал, конечно.

Баланы нужно было дотолкать до берега, потом хватать их – сырые, скользкие и ужасно тяжёлые – за один конец, в то время как другой подхватывали Моисей Соломонович с малорослым мужичком, и выползть на сушу.

Если четыре мужика могли справиться с баланом – значит, он был самого малого размера.

В ход пока шло молодое дерево, неширокое в объёме и длиной не больше пяти метров – чаще и поменьше. Но в воде виднелись такие великаны, которые и целым взводом не стыдно было бы нести.

Берег к тому же был каменистый – ступать по нему, еле удерживая балан, казалось мукой.

Сивцеву в пару достался китаец. Китайца Сивцев почему-то называл “зайчатина”. “Давай, зайчатина, мырай глубже... – повторял он не без удовольствия. – Непапошный какой...”

Мелкий мужичок с Моисеем Соломоновичем сработаться никак не могли. Первый балан, который дотолкали Артём с Афанасьевым, они ещё кое-как, чертыхаясь и семеня, помогли оттащить подальше от воды, а следующий балан мужичок выронил, Ксива заорал на него – тот сразу, как-то по-детски, заплакал.

– Я работал в конторе! – всхлипывал он. – С бумагами! А меня который месяц принуждают надрывать внутренности! Сил во мне не стало уже!

“Юродивый”, – подумал Артём раздражённо.

– Начальник, да на хер он не нужен! – прокричал Ксива и тут же, торопливо загребая руками, ушёл вглубь, когда десятник направился к нему. На спине у Ксивы тоже были прыщи, они шли рядом, как белоголовые насекомые, по лопатке, через позвоночник и вниз к заднице.

Натрудив руки, наломав ноги, выволокли с горем пополам десяток баланов на берег.

“...А десятник сказал, что урок – сто!” – ошалело, но ещё способный в мыслях позабавить себя, подумал Артём.

С берега баланы нужно было тащить на лесопильный завод.

Пока поднимали, присаживаясь и надрывая спину, первый балан на плечи, Артём успел возненавидеть его как живое существо – неистово, пронзительно.

“Какой же ты, сука, тяжёлый, скользкий, хоть бы тебе всю морду изрубили топором, гадина...”

Впопыхах первый заход Артём сделал без рубахи. Ещё на полпути разодрал голое плечо о дерево.

Дорога оказалось неблизкой, по кочкам и кустам. Артём неустанно обмахивался от комарья. Афанасьев, даром что поэт, оказался выносливым как верблюд: “Хорош танцевать, Тёма!” – просил он, тяжело дыша в нос.

Нос балана несли Сивцев с китайцем, Артём неотрывно смотрел китайцу в чёрный затылок.

На лесопильном визжала пила – не видя пути, Артём по звуку понимал, что они близко, ещё ближе, ещё... вот, кажется, пришли. На “три, четыре” – командовал Афанасьев – сбросили балан – такая благодарность во всём теле вспыхнула на мгновение. Вот только комарьё...

Неприветливый, надгорбленный работой мужик вышел из помещения, посмотрел на прибывших и, не поздоровавшись, исчез в дверном проёме.

Обратно Артём бежал почти бегом – к своей рубахе.

– Куда погнал? За работой соскучился? – крикнул вслед Афанасьев.

Мокрое бельё противно свисало. Артём чувствовал свою заочевеншую, сжавшуюся и ошетилившуюся мошонку. Вдруг вспомнил, что забыл хлеб в кармашке, сунул руку – так и есть, пальцы влезли в сырой и гадкий мякиш. Оскользнулся на кочке, упал, непроизвольно выбросив вперёд руку – как раз ту, что сжимала хлеб.

Осталось немного на пальцах: Артём лежал на траве, животом чувствуя холодную илистую воду... облизывал руки в хлебной каше.

– О, затаился, – раздался позади голос Афанасьева. – Оленя выжидаешь в засаде? Или на лягушек охотишься?

Артём поднялся, почувствовал: вот-вот заплачет. Вертел головой, чтоб Афанасьев не увидел.

Это был последний хлеб, впереди ещё два дня оставалось на пшёнке и треске.

...Справился с собой, сжал зубы, вытер глаза, заставил себя обернуться и улыбнулся Афанасьеву. Получилось – оскалился.

Сивцев обратно не торопился и передвигался почему-то на корточках. Ягоды собирает, догадался Артём.

Ему ягод не хотелось. Дотащили два балана – оставалось девяносто восемь.

На следующей ходке стало жарче, хотя день был стылый.

Обратил внимание на Сивцева – тот был будто бы в сукровице: поначалу Артём

подумал, что мужик разбил висок вдребезги. Оказалось – ягоды: намазал рожу от комаров, деревенский хитрец.

Возвращаясь, Артём тоже попытался найти какой-нибудь хоть бы и шикши. С первого раза не получилось – десятник Сорокин заскучал на берегу и пошёл встречать припозднившихся работников: снова разорался как обворованный.

Во второй раз Артём угодил на ягодную россыпь – чёрт знает что за ягода, но весь умазался. Втирал с таким остервенением, словно узнал, что смерть подошла к самому сердцу, а тут попалась живая ягода, может уберечь.

...Хоть на глаза и лоб перестали садиться.

Мелкого мужичка, которого никто не знал, как зовут, материли теперь все подряд, кроме Моисея Соломоновича. Мужичок поминутно останавливался передохнуть, едва вставал – тут же норовил спотыкнуться и завалить балан, охал и вскрикивал.

Когда солнце зашло за полудень, мужичок отказался работать.

Подошёл, хромя на все ноги, к десятнику и сказал:

– Убей, я не могу.

– И убью, – ответил десятник и начал убивать: сшиб с ног, потоптал мужичку лицо, несколько раз вогнал сапог в бок, крича при этом: – Будешь работать, филон?

Работающие остановились – всё отдых. Кто-то даже закурил. Один китаец отвернулся, присел и глаза закрыл, как исчез.

– Я не могу! Не убей! – слабым голосом вскрикивал мужичок. – Не могу! Не убей меня!

Артём тоже тупо смотрел на это. “То – «убей!», то – «не убей!»”, – мельком заметил про себя.

Если бы мужичка убили бы сейчас же, он бы, наверное, ничего не почувствовал.

“...Какое всё-таки странное выражение: «Не убей меня!», – снова заметил Артём. – Никогда такого не слышал...”

Когда кто-то крикнул: “Хорош, слушай!” – Артём какую-то долю мгновения даже не понимал, что это крикнул он сам. По щеке Артёма пошла трещина – ягодный сок присох, а рот раскрылся и щека будто пополам надорвалась.

Десятник, нисколько не задумываясь, развернулся и уже в развороте забросил дрын в Артёма, как в чистое поле.

Артём едва успел пригнуться, а то ровно в лоб бы угодило.

– Принеси, шакал, – скомандовал ему десятник.

В глаза десятнику Артём не смотрел, на других лагерников тоже. Скопился на двоих конвойных – они наблюдали за всем происходящим с единственным и очень простым чувством: им хотелось, чтоб кто-нибудь дал им причину озлиться. Один даже привстал и всё перетаптывался – так не терпелось.

Артём сходил за дрыном – тот лежал неподалёку на камнях. Не поднимая глаз, отдал его десятнику.

За всю эту тошную минуту к нему не пришло ни одной мысли, он только повторял: “А мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам”.

Вывхватив дрын, десятник замахнулся на Артёма – но тот с не свойственной ему поспешностью и незнакомой какой-то, гадкой суетливостью увернулся и, ссутулившись, побежал к воде – работа, работа заждалась.

Даже рубаху не снял – так и влез в ней сразу по самую глотку.

Остальные тоже полезли за Артёмом.

– Мне не по силам, гражданин десятник, – по слогам умолял мужичок на берегу десятника, – не-по-си-лам. Сердце в горле торчит! Умру ведь!

Когда Артём с Афанасьевым подгоняли очередной балан к берегу, выяснилось, что десятник взамен работы придумал мужичку другое занятие.

Встав на пенёк, мужичок начал выкрикивать:

– Я филон! Я филон! Я паразит советской власти!

Ксива заржал, другие блатные тоже захекали.

– Я филон! Я филон! Я паразит советской власти! – повторял мужичок как заведённый.

– Две тысячи раз, я считаю, – сказал десятник Сорокин, довольный собой.

Конвойные, парни ражие, тоже заливались.

Скопив на берегу десять баланов, снова отправились к лесопильному заводу. Левая рука была вся ободрана о кусты – когда танцевали по дороге на кочках, цеплялись за что попало. Теперь поменялись сторонами с Афанасьевым, и Артём цеплялся правой.

За спиной всё раздавалось:

– Я филон! Я филон! Я паразит советской власти!

На обратной дороге Артём как следует выжал рубаху, но, странное дело, волглая ткань оказалась ещё холодней, чем насквозь сырая.

Ягодный сок с лица смыло, новых ягод не попадалось. С размаху бил комаров – на ладони рассыпью оставались алые отметины – значит, сидели сразу дюжиной.

Взамен усаживались новые, бессчётные.

Мужичка хватило ненадолго, уже через полчаса он еле сипел. Десятник время от времени подбадривал его дрыном.

Принесли обед; мужичок, косясь на еду, выкрикнул из последних сил про филона и паразита и шагнул было за пайкой, но десятник не понял, к чему это он.

– Ты куда, певчий клоп? Куда собрался? – заорал десятник. – Ты думаешь, ты заработал на пожрать? Какой обед филону? Тысяча штрафных!

Артём даже не смотрел, что происходит, только слышал, что бьют по живому и беззащитному с тем ужасным звуком, к которому он так и не привык к своим двадцати семи.

\* \* \*

“Что же такое? – беспомощно и обрывочно думал Артём, подъедая обед. – Почему так всё совпало? До сих пор как-то уворачивался!.. Что теперь делать с этим Ксивой? За ним блатных свора... Не Василий же Петрович будет со мной... Да ещё я зачем-то его обидел!.. А с десятником? Какой стыд! Как я бежал от него – стыд! Почему же я не убил его?..”

Артёма никто и не бил никогда, кроме отца. Но отец – когда это было!.. Он даже имя его забыл.

К тому же оставалось штук семьдесят баланов – как и не начинали.

Афанасьев, у которого откуда-то находились силы говорить, рассказывал про чеченцев. Артём вяло слушал, иногда забываясь. Тем более что мужичок так и сипел ещё:

– Я филон, я филон, я паразит... советской... власти!.. Я филон... Паразит...

– Не филонь, филон, – куражился десятник Сорокин. – Сначала два раза про филона, потом – паразит. А то нескладно звучит. И громче, громче! Ну!

Артём отыскивал себе веточку на земле поровней да повкусней – обкусал концы, приладил в зубы. Сидел, расчёсывая ногтями колени – разгоняя так кровь.

“Нельзя слабеть! Нельзя подыхать раньше времени!” – повторял себе, разгрызая ветку.

Потом выплюнул её, укусил себя несколько раз за руку – пробуя чувствительность.

– ...Характер не поймёшь какой у этих ребят, – всё рассказывал Афанасьев, пытаясь говорить так, чтоб его было слышно за криками мужичка. – Который младший чечен – пошёл за пайкой в каптёрку, принёс три. Как он там их уговорил, что сказал, я не знаю... Вроде отзывчивые – но сразу беспощадные... и наивные как дети, и хитрые... Чудный народец!

## Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,

WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.